

- ИЕРУСАЛИМ - НАЧАЛО КООРДИНАТ
в еврейском мироздании
- „ПРОДАВЦЫ СНОВ“ -
новая повесть Григория Кановича
- ОДИН В ОКЕАНЕ -
три дня из жизни Славы Курилова
- ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД ЛИЦОМ КАТАСТРОФЫ
в поэзии Анны Ахматовой
- ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА - эссе Бен-Баруха

107

22

ИЕРУСАЛИМ

№ 107

МОСКВА

М

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ ЕВРЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ИЗ СНГ В ИЗРАИЛЕ**

ДВАДЦАТЬ ДВА



107

**ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ ПРИ СОДЕЙСТВИИ МИНИСТЕРСТВА АБСОРЬЦИИ
И ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ**

1998

СОДЕРЖАНИЕ

50 лет	3
--------------	---

ЛИТЕРАТУРА

Григорий Канович. Продавцы снов	5
Александр Карабчиевский. Праздник святого ленивца ...	70
Анатолий Добрович. Буквомат акробатики, или о породе лещей	93
Евгений Сошкин. Стихи	100

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Константин Фрумкин. Последовательная парадоксальность святого города	106
--	-----

ЧЕЛОВЕК В НЕОСВОЕННОМ МИРЕ

Слава Курилов. Побег в океане	113
Бен-Барух. Человек наедине с природой	149
Софья Гутникова, Сергей Шац. Человек, окруженный непониманием	160
Давид Керен. Человек перед лицом катастрофы	1181

В ОКЕАНЕ КНИГ

Михаил Копелiovич. Человек как исторический персонаж	203
Марэн Фрейденберг. Частная жизнь человека в истории	212
Александр Ротшильд. Художественная лепка образа себя	220

На первой странице:

Голда Меир встречает Нехаму Лифшиц – “первую ласточку” алии.

На последней странице обложки:

Юлия Сегаль. “Алия”

50 лет

Израиль – государство (быть может, единственное в мире), которое возникло не благодаря, а вопреки. Вопреки вероятности, практическому здравому смыслу и исторически сложившимся тенденциям. В какой-то степени это нарушение наиболее вероятного хода вещей продолжается и сейчас в нашем повседневном существовании. Израиль – страна редчайших, острейших исторических противоречий и политических взаимодействий, полумифический феномен объединения разбросанного по планете народа, прошедшего по двухтысячелетним тропам истории сквозь рассеяние на чужбине, угнетение, бесчисленные катастрофы, всеобщую ненависть и всепоглощающий страх... В науке такие аномалии привлекают особенно пристальное внимание ученых, так как они помогают критически пересмотреть устоявшиеся общепринятые представления. Но и в науке большая часть коллективных усилий при этом уходит все-таки на попытки как нибудь элиминировать аномалию или свести ее к уже известному. Тем более – в политике! Поэтому нет ничего удивительного в том, что столь многие в мире настроены против существования государства Израиль.

Ровно пятьдесят лет назад еврейское население Палестины, насчитывавшее к тому времени всего 600 000 человек, решилось провозгласить свою независимость со всеми вытекающими отсюда последствиями – войной, арабской блокадой и экономической необеспеченностью.

Спустя пятьдесят лет это государство выросло в десять раз и, вопреки войнам, терроризму, арабскому бойкоту и непрерывной внутренней грызне, из непроизводительной британской колонии без ощутимых природных ресурсов превратилось в мощную, быстрорастущую демократию западного типа с высоким уровнем жизни и обеспеченности основных прав граждан.

Как все-таки произошел этот разительный переход?

Группа журналистов газеты „Маарив“ подготовила замечательный юбилейный альбом „Израиль-50“, в котором год за годом прослежена история страны по ежедневным газетным сообщениям. Текст снабжен также аутентичными фотографиями с места событий. История успеха людей, прошедших войны, голод,

жизнь в палатках, строительство на пустом месте, освоение пустынь и снова войны... Словно гигантский бурлящий котел, в который были брошены вера и гордость, воля и терпение, молитвы и национальный энтузиазм сотен тысяч людей...

Рина Жак, журналист и издатель, глава издательства „Меркур“, решила перевести этот исторический документ на русский язык с некоторыми дополнениями для неосведомленного читателя. Эта поразительная книга издана на иврите, английском, а теперь и на русском, конечно, не только из коммерческих соображений. История, которая уже пятьдесят лет пишется общим трудом и кровью нашего народа, заслуживает быть увековеченной. Авторы и издатели хотели, чтобы каждый старожил, новый репатриант или даже гость мог увидеть эту впечатляющую ретроспективу и разделить с нами не только праздник, но также и пронзительную боль утрат, сопровождавшую каждую победу. Как всякая история, история Израиля полна порой трагических, а порой и смешных, великих и мелких событий. Из этой калейдоскопической картины читатель сможет уловить живой фон развития страны, которая по праву считается экономическим и технологическим (добавим, а также и социологическим) чудом.

Конечно, это общее чудо состояло из множества частных достижений отдельных групп и организаций. Одним из таких частных чудес, особенно значимых для нас, являлось поселение и укоренение в нашей стране около миллиона людей из бывшего СССР.

Это последнее чудо, в котором на равных участвовали обе стороны: государство Израиль и еврейский народ СССР, было также первым (за 50 лет) историческим событием, в котором еврейский народ бывшей России проявил себя, наконец, как народ. Таким образом, существование в мире независимого государства Израиль превратило российских евреев (теперь уже навсегда) из проблематичных граждан СССР (т.е. вещи в себе) в отдельный народ среди других народов (вещь для нас) .

Миллионная алия из России – грандиозная мечта, осуществление которой удалось нам увидеть при жизни, состоит из миллиона отдельных, непростых человеческих судеб. В этом номере читатель сможет, хотя бы отчасти, окинуть взором спектр лиц и проблем, которые составляют теперь „русскую“ компоненту нашего общества.

ЛИТЕРАТУРА

Григорий Канович

ПРОДАВЦЫ СНОВ

1

Я учился с ним в одном классе, даже сидел за одной партой у окна, за которым шелестел своими шершавыми, загадочными листьями старый каштан, высаженный первым директором Виленской мужской гимназии ясновельможным паном Войцехом Пионтковским в память о павших героях польского восстания 1831-го года. Вельможным был и сам каштан, не похожий на другие, шумевшие по соседству деревья, чахнувшие от старости и от городской пыли, устало и усердно оседавшей на ветках. Под его взъерошенной кроной, как под сводом костела, с утра до вечера творили свои незатейливые молитвы полуголодные послевоенные птицы, привлекавшие внимание учеников больше, чем сухие и каверзные уравнения на доске или рассказы о достославных подвигах Александра Невского, наголову разбившего врагов на Чудском озере.

Иногда – особенно по весне – на подоконник боязливо садились отливающие глазурью грачи и молодые белобокие сороки, выпорхнувшие, словно крестовые дамы, из какой-нибудь карточной колоды, а в распахнутое окно самонадеянно залетали бездумные люмпены-воробьи, которые, шныряя под партами, выискивали оброненные на пол хлебные крошки и, долбя непривередливыми клювиками нечаянное подаяние, в радостном, почти самозабвенном испуге принимались за ниспосланный Богом завтрак. Самые отчаянные из них затягивали, бывало, свою

нищенскую трапезу дольше, чем полагалось, и, на беду, оказывались в огромной клетке, оглушаемой дикарскими криками, топотом ног и треском парт.

Не знаю почему, но охота за обезумевшими от страха и безысходности птахами превращалась у нас в негаданный и греховный праздник, отличный от чинного, аляповатого Первомая и царственно-холодного Великого Октября. Каждый из нас, даже тот, кто слыл тихоней или примерным пятерочником, считал для себя чуть ли не за честь принять посильное участие в этой горячившей кровь погоне, в этой захватывающей, головокружительной ловле, которая умеряла каждодневную скуку, навеваемую однообразными уроками, и как-то скрашивала привычные будни, лишённые страсти и неминуемого юношеского безумства. Казалось, в этом молодецком гикании, в этом охотничьем улюлюкании не было ничего, кроме стесняющего грудь запретного желания выплеснуть свою тоску по жизни, которая не подлежит оценке по пятибалльной системе и не подчиняется учительской указке, по какому-то смутному, вряд ли до конца осознанному бунту против наскучившей школярской действительности, тусклой и не изобретательной, как общешкольная стенгазета с вытатуированными на самом верху серпом и молотом.

Как бы долго птицы ни бились о побеленные к началу учебного года стены, без всякой фантазии украшенные одними и теми же казенными портретами бессмертного Ленина и его не менее бессмертного соратника – товарища Сталина, рано или поздно откроется дверь, и в класс, как в святилище, войдет наш классный руководитель – учитель математики Вульф Абелевич Абрамский, поправит на горбатом носу старомодное, эсэровское пенсне и тихим голосом, каким, наверно, говорили в древности обожаемые им Пифагор и Евклид, скажет:

– Сейчас же прекратить безобразие! Только человеческой мысли не возбраняется летать повсюду. Для нее и узилище – небеса. Но не для птицы...

И, переведя взгляд на нашу парту, обратится к своему любимцу Натану Идельсону, моему однокласснику и соседу, сидевшему у самого окна:

– Идельсон!.. Выпустите, пожалуйста, пленницу на волю! Кто лишает свободы других, тот сам когда-нибудь будет наказан кандалами...

Натан – лучший математик в классе, гений, как его называл Вульф Абелевич, никогда не смел послушаться своего учителя и заступника. Он открывал окно, птицы стайкой выпархивали из класса, скрывались в ветвях каштана, и вскоре до нашего слуха доносился их счастливый и беззаботный щебет. В классе наступала тишина, какая бывала только на уроках Абрамского, строгость которого была равновелика его пронзительному, как солнечный луч, уму – в древней Греции он был бы не наставником двадцати двух увальней и башибузуков, а вторым Пифагором или Евклидом. В древней Греции он бы не дрейфил перед нашим директором Михаилом Алексеевичем Антоненковым, который, если и мог чем-то похвастать, то не умом, а орденами и медалями на широкой груди, сверкавшими, как елочная гирлянда. Да и как было бедняге Абрамскому не дрейфить, как не бояться, если историк Михаил Алексеевич, знавший все, шла ли речь о том, что происходило в российской империи в прошлом – о сражении на Чудском озере, о тайных сговорах в царских опочивальнях, или о том, что произойдет на Руси в обозримые двадцать-тридцать лет, не раз на педсовете не то шутя, не то на полном серьезе поддевал Абрамского:

– Да вы, Вульф Абелевич, в этом своем пенсне – ну прямо-таки вылитый Лев Давидович Троцкий... Не родственники ли вы часом?..

– Нет, – с достоинством отвечал Абрамский. – Еврей, позвольте вам, многоуважаемый Михаил Алексеевич, заметить, как правило, всегда похож не на того, на кого надо.

С тех пор к Вульфу Абелевичу и прилепилось небезопасное прозвище – Троцкий. Тайком его так называли даже коллеги.

Как и Идельсон, Вульф Абелевич родился в Вильнюсе. Не успев эвакуироваться, он попал на два года в гетто, где на Мясницкой улице учительствовал в подпольной школе – преподавал ту же, с таким трудом дававшуюся мне, математику. Он и там отличался той же дотошностью и педантичностью, был таким же брюзгой – вечно на кого-то ворчал, никому не ставил отметки выше четверки, безжалостно карал за шпаргалки, выгонял из класса за любую

подсказку. Вульф Абелевич ревностно оберегал свой холостяцкий статус, был закоренелым вегетарианцем – даже за колючей проволокой он не изменял своим привычкам: с женщинами не водился, хотя доброхоты многожды и пытались найти ему подходящую невесту, ел, как ребенок, – только кашицы и овощи. Абрамский был невероятно худ, но худоба придавала ему какую-то свежесть и моложавость. Зимой сорок третьего года школу в гетто закрыли, кого-то из учителей увезли навеки в Понары, а кого-то отправили в Майданек или Дахау. Вульф Абелевич и в Майданеке каким-то образом ухитрился набрать небольшую группу подростков, оставшихся в этом аду в живых, и при свете лампочки-доходяги истово, с мстительным наслаждением принялся обучать их математическим премудростям. Все учебники долговязый Абрамский знал назубок, легко сыпал примерами, чертил угольком на задней стенке шкафа, принесенного в барак со свалки, замысловатые уравнения, формулы, дроби – недаром же он, сын мебельного фабриканта, в начале тридцатых годов кончил с отличием не то университет в Базеле, не то Сорбонну. Там, в Майданеке, он и познакомился с сиротой Натаном Идельсоном, которому, как и его измученным голодом и болезнями сверстникам, прикидывавшимися взрослыми, чтобы выжить, поначалу не было никакого дела ни до Пифагора, ни до Евклида, ни до Лобачевского.

– У нас не было ни бумаги, ни карандашей. Но они ему и не были нужны. Он прекрасно обходился без них и того же требовал от нас. Сперва мы складывали и делили свои лагерные номера на руке, потом по частям возводили их в квадрат и в куб. Вульф Абелевич, бывало, поднесет к каждому малохольный фитилек, агонизировавший под треснутым колпачком лампочки, вперит взгляд в номер, зашевелит губами и ждет ответа. Временами казалось, что он ненормальный... шарлатан какой-то... что придумал эту дурацкую игру только ради того, чтобы не думать о смерти, не отчаяться, чтобы, как он говорил, не оставить пустыми свои улья – наши стриженные, запаршивевшие головы, ибо, когда умирает мысль, нет никакого смысла жить, даже если жизнь еще длится и длится. До сих пор помню его усмешку: «Умножение шестизначных чисел помогает выводить вшей и избавиться от

парши! Умножайте, умножайте!» – передразнивая Абрамского, через сорок лет в маленьком кафе над Сеной неспешно рассказывал мне о тех лагерных уроках мой однокашник Натан Идельсон, профессор прославленной Сорбонны.

Он глотнул из бокала искрившееся в вечерних сумерках шампанское, откинулся на спинку плетеного стула и, близоруко щурясь, с какой-то щемящей тоской, не вязавшейся с веселым гомоном завсегдатаев в миниатюрном, почти семейном кафе, продолжал:

– Оттуда... из Майданека и мой французский... Вульф Абелевич на нем говорил как истый парижанин. Два часа в день мы занимались математикой и один час французским. Вокруг – неубранные трупы, голод, болезни, смерть, а он как будто ничего не замечает – печется о нашем произношении, о прононсе, заставляет галантно раскланиваться друг с другом и говорить о красоте, о любви, об устрицах, о креветках, о шампиньонах, о винах... И не смей перечить. Мозг должен-де работать с полной нагрузкой назло всему... Это-де единственное, что мы можем противопоставить насилию, единственное, что сами в этих условиях в состоянии защитить и чем в конечном итоге можем спасти себя от позора и гибели. Четверо не выдержали – сбежали... Трое – умерли от истощения. И трое, в том числе и я, выжили... Выжили, благодаря его урокам... То было учительство не на грани смерти, а за гранью. Если бы не он, я, наверно, никогда бы не стал тем, кем стал. Никогда... И во Францию не поехал бы... я бы никуда не поехал... Торчал бы где-нибудь, прости за откровенность, в Литве, как ты... лебезил бы перед каждым городским и урядником...

Как и подобает гостю с другой, давным-давно забытой Идельсоном планеты, я слушал его, не перебивая, внимательно, может, даже подобоострастно; я не спрашивал его, что же вынудило их вернуться в урядницкую Литву, знал, что и этому рассказу придет черед; Идельсон же подолгу молчал, поглаживая рукой с выжженным номером, легко различимым в щедром неоновом свете, заливавшем кафе, всех посетителей, слегка захмелевших и не обращавших никакого внимания на наш столик, свою благородную, отороченную седоватым мехом лысину, и отрешенно,

как будто никого рядом с ним не было, смотрел в окно – он и сейчас в Париже сидел, как сорок лет тому назад, у распахнутого настежь окна, – за которым на пропахшем шампанским и речной прохладой ветру шелестел своими загадочными листьями старый каштан с темной взъерошенной кроной, точно такой же, как в сорок восьмом в разоренном Вильнюсе, только без суматошливой птичьей возни и щебета.

– Каштан, – сказал он, как учитель ботаники, который впервые привел своих учеников в ботанический сад.

– Да, – промолвил я.

– Как две капли воды похож на тот... школьный...

– Да.

Мне не хотелось мешать ему своей болтовней, я понимал, что сейчас не я, а он должен выговориться – господин профессор предупредил же меня незадолго до того, как мы отправились в кафе, что сегодня не жди спуска, сегодня мы будем вдвоем сидеть до утра, а потом до заката, а потом снова до утра, пить шампанское, есть всякие французские яства, смотреть на звезды и вспоминать, вспоминать, вспоминать...

– Жаль только одного... Очень жаль, – продолжал Идельсон.

Я не сразу смекнул, чего именно ему жалко – то ли своей промчавшейся в послевоенной Литве юности, бедной и неудобной; то ли нашего учителя Вульфа Абелевича, гроб которого в весеннюю литовскую землю опустили другие, а не он, Натан, его любимец и последняя надежда; то ли меня, приехавшего по его милостивому приглашению в несравненный, легендарный Париж, безвестного провинциального сочинителя, застрявшего навеки на другой, вымокшей в крови планете.

Натан снова погладил свою лысину – на сей раз тем же жестом, каким когда-то зачесывал наверх свою густую черную чуприну, вызывавшую зависть у однокашников, с которыми он когда-то охотно и без риска заключал пари на то, что бесследно спрячет в волосах десять авторучек производства фабрики имени Сакко и Ванцетти.

– Жаль, окно, смотри, открыто настежь – но наши птицы в него уже никогда не залетят. Никогда.

Меня приятно удивило, что Идельсон еще бойко, без всякой

запинки говорит по-русски, хотя в его речи нет-нет да про-скальзывал уральский говорок, приобретенный в Челябинском политехническом институте имени Ленинского комсомола, где по окончании Виленской мужской гимназии Натан учился на факультете прикладной математики. Хотя Вульф Абелевич и подготовил его к поступлению в Московский университет и уверял, что Идельсон на вступительных экзаменах получит по всем предметам пятерки, Натана туда не приняли. Добрейший Абрамский, который жил среди формул, не знающих исключений, и уравнений, годных, как ему казалось, на все времена, упустил из виду главный и самый трудный экзамен – национальность. Его-то Идельсон и не сдал.

В вечернем мареве от искрившегося, как шампанское, воздуха отслаивались все новые подробности о прошлой жизни, и она, эта далекая от парижских набережных и звезд жизнь, дробилась, делилась на отдельные, не связанные между собой отрезки, петляла застигнутым гончими зверьком во все стороны, заметала следы.

Идельсон по-мальчишески упивался свободой, заказывал одно блюдо за другим и все время – ни дать ни взять русский купчина – терзал меня вопросом:

– Почему ты так мало ешь? Не стесняйся! Заказывай, что хочешь! В Литве таких кушаний днем с огнем не найти.

По правде говоря, никаких особых деликатесов я и не жаждал, гурманом никогда не был, пить остерегался (мало не умел, а много, да еще за границей, побаивался); мне вполне хватало соседства Натана, этого удивительного парижского неба в звездах, как в орденах; этого незлобивого шума в кафе и громкого смеха незнакомой женщины с кроной мятежных каштановых – надо же: каштановых! – волос.

Загляделся на нее и задумчивый Идельсон.

– Господи, какое наслаждение, когда с тобой рядом смеющаяся женщина, пусть и чужая! – выдохнул он. – А ты уже, небось, напрочь о таких вещах забыл?..

– О каких вещах?

– Забыл, как смеется любовь...

Меня выручил официант, который бесшумно, на цыпочках подо-

шел к нашему столику и по-французски что-то шепнул Натану на ухо.

– Извини, пожалуйста. Мне кто-то звонит.

Идельсон встал и, дружески помахивая рукой посетителям, юркнул в служебную дверь.

Я остался один, коря себя за то, что ни разу за весь день не спросил его о семье, о жене и детях и, может, о внуках. Странно было, что и он о них ни словом не обмолвился – отвез меня на своем кремового цвета «Пежо» прямо из аэропорта Орли в Латинский квартал, на рю Декарт, устроил в гостиницу, скорее напоминавшую католический монастырь, чем постоянный двор, заставил взять двести франков на мелкие, как он объявил, расходы, и, шлепнув по щеке, укатил то ли в свою Сорбонну, то ли еще куда.

Время шло, Идельсон к столику не возвращался, и я начал уже беспокоиться, не случилось ли с ним чего. Было в моем беспокойстве и что-то неприличное – а вдруг Натан не придет, и мне, безъязыкому, безденежному, придется рассчитываться за все это роскошество – за это шампанское, за эти устрицы, за этот сногшибательный сыр-камамбер (тут двумя сотенными не обойдешься).

К счастью, непристойная моя растерянность длилась недолго; снова громко и заразительно за соседним столиком засмеялась француженка; снова заколыхалась, задымилась, как пряная сигарета, ее каштановая корона, и в этом колыхании, в этом дыму было что-то умиротворяющее, обнадеживающее, и я вдруг по-дурацки улыбнулся не то ей, не то своему страху, а тут пришел и сам Идельсон, сияющий лысиной, излучающий уверенность.

– Дела, заботы, – пропел он, – я ведь не только профессор Сорбонны...

И осекся.

Это полупризнание меня смутило, но я счел за благо ни о чем не допытываться. Если Натан захочет – сам расскажет, нечего лезть с расспросами.

Он сел, придвинул к себе бокал, взялся двумя пальцами за тонкий стеклянный стебелек, покрутил в руке, потом пригубил и сказал:

– Пора, пожалуй, съездить в Вильнюс... Раньше... до Горбачева я не решался... кагэбе-шмагэбе... А сейчас, пожалуй, пора... В сентябре в Стокгольме конгресс. Оттуда до Вильнюса рукой подать... Грешно не воспользоваться случаем...

– Приезжай... Обязательно... Рады будем... Тоже закатим пир горой.

– Разве, кроме тебя, там кто-нибудь еще из наших однокашников остался?

– Коля...

– Коля Мукомолов?

– Да... Долгое время был народным судьей.

– Ишь ты – народным? Он что – народ судил?

– Лучших представителей, – пошутил я.

– Что ж, давай выпьем за Колю...

Он снова пригубил бокал, вынул из кармана шелковый платочек, вытер губы.

– Первым делом, когда приеду, отправимся с тобой в школу... Сядем за парту, откроем окно, навернем бутербродики с сыром «Шатас»...

– «Шетос», – поправил я его.

– Ах, да, «Шетос»... оброним на пол хлебные крошки... дождемся, когда затрещит звонок на перемену, выбежим, лысые старички, развалины с учеными степенями, процветающие доходягяи, во двор... а когда вернемся, будем, сломя голову, гоняться за бедными воробушками ...

Он замолк, прислушался, как будто тщился различить в гомоне кафе чирикание, хлопанье крылышек, но чем больше прислушивался, тем задумчивей становилось его продолговатое лицо с глубокими складками у губ и ножевыми отметинами времени – морщинами на высоком смуглом лбу.

Тихо звучала гитара; маленькая певица, похожая на непревзойденную Эдит Пиаф, в длинном, почти монашеском платье, как воробыным крылышком хлопала своим прокуренным, берущим за душу голосом.

Идельсон, видно, ждал, что я на это скажу, но я долго не решался заговорить. Приедет – и сам увидит своими глазами. Не стоит его разочаровывать. Пусть себе до прилета в Вильнюс

думает, что все там осталось, как прежде. Пусть тешит себя тем, что окно в шестой класс после его эмиграции почти тридцать лет не закрывали, что своими загадочными листьями как ни в чем не бывало шелестит каштан, что полуголодные птицы (птицы никогда сытыми не бывают, ибо паренье противопоказано сытости) залетают в класс...

– Первым делом, Натан, ты, наверно, поедешь к Вульффу Абелевичу...

– Он когда умер?

– В восемьдесят седьмом...

– Да будет благословенна его память... я писал ему, посылал с оказией лекарства, но он мне ни разу не ответил. Боялся, наверно... Все вы там до единого были запеленуты в страх... И сейчас – при Горбачеве – вы еще из этих железных пеленок не выросли... А окно в класс, как я понял из твоего молчания, наверно, замуровали навеки... И каштан срубили... И ни одного воробушка вокруг... Так или не так?

– Так... На месте нашей гимназии – здание ЦК... Дом высшей власти, – на всякий случай объяснил я ему. – А наш каштан... – и тут я запнулся.

– Говори, говори, раз начал, – невесело подбодрил он меня.

– Нет больше нашего каштана. Спилили и пустили на растопку. И воробьев там в помине нет...

– Не кормит их партия? – Идельсон попытался улыбнуться, но лицо его исказила горькая клоунская гримаса.

– У нее и без них уйма нахлебников.

Я попытался свернуть разговор и перейти к чему-то другому; некстати похвалил певицу, терзавшую своим меланхолическим пением наши сердца, но он и ухом не повел, сидел, вперившись в звезды, и о чем-то печально, почти мучительно размышлял. Впечатление было такое, будто ему сообщили не о срубленном каштане, высаженном ясновельможным паном Войцехом Пионтовским, а о разорении единственной, связывающей с родиной ниши, куда он, столько в жизни повидавший, преуспевший на чужбине, нет-нет, да мысленно залетал, чтобы почистить свои перышки, вольно и бездумно пощebetать, высидеть, как птенчика, свою искалеченную, но прекрасную юность.

– Ты всем правду-матку, как говорят русские, в глаза режешь? Я замялся.

– Всем? – упорно домогался ответа Идельсон.

– Стараюсь, по мере возможностей не лгать... Чего-чего, а лжи, как ты знаешь, мы налопались досыта.

– А я, представь себе, и тут частенько привирал... особенно в первые годы моей учебы в Сорбонне... Это давало небольшой, но ощутимый доход. Честно признаться, я, бедный эмигрант, человек без всяких связей, никаким заработком не гнушался – развозил на мотоцикле пиццу, сторожил склад с рулонами туалетной бумаги, пока один наш земляк меня не выручил – предложил мне то, что сейчас я хочу предложить тебе: ходить по домам и за определенную мзду рассказывать богатым старикам-литвакам о покинутой ими Литве. И я согласился. Мне платили за вечер сто... сто пятьдесят франков... в зависимости от того, к кому попадешь... Один старикашка, помню, так растрогался, что выписал чек на целую тысячу...

– Ничего себе работа...

– А что? Языком молоть... оздоровительные коктейли из слов готовить. Ты справишься с этим лучше меня. Потом еще какую-нибудь книжку напишешь. Клиентов хоть отбавляй. Я буду, так сказать, твоим импрессарио. Ладно?

– Я подумаю, – уклончиво промолвил я, заинтригованный его предложением.

– Уверяю тебя: искусное вранье, смесь правды с вымыслом, небылицы, сны порой ценятся дороже, чем лекарство, – продолжал он. – Ну чего ты, например, добился тем, что, не задумываясь, бухнул: каштан срубили... окно замуровали навеки?... А мог ведь ради всех святых соврать: наш каштан, Идельсон, слава Богу, цветет, зажигает каждый год свои свечи; окно расширено, и воробьи, как и прежде, устраивают драки под партами... Мне, милый, уже за шестьдесят... Не помчусь же я в Вильнюс проверять, правду ты сказал или надул меня... А ты – «здание ЦК»... «пустили на растопку». Ностальгия, брат, совсем неплохой товар. Вот почему перед тем, как ты приехал в Париж, я тут, уж прости, без твоего ведома кое-что придумал. Работа, как видишь, не пыльная, но доходная. А главное – гуманная...

Понимаешь, гуманная. Люди устали от правды. Правды сейчас столько же, сколько дерьма. А ведь, согласишься, она унижает, ломает человека, приносит ему только страдания. Нет ничего на свете более разочаровывающего, чем правда. Короче говоря, я поделился с тобой своей идеей... Когда-то я опробовал ее на себе. Если не будешь артачиться, то вернешься в Литву не только с новыми сюжетами, но и с полным кошельком... Ты слушай, слушай и на рожон не лезь!.. Как учили нас в Союзе, любая работа – почетна.

– И все-таки, что же, если не секрет, я должен буду делать? – спросил я почти раздраженно.

– Отвечать на вопросы, вовремя и кстати кивать головой, кое-что по ходу дела присочинять...

Я не мог взять в толк, с кем он без моего ведома договорился, но, верный своему правилу не перебивать, внимал ему с напускной покорностью, мужественно борясь с шебуршавшей в душе обидой. Но почему он все время обрывает разговор на самом интересном месте?

– И с каким мастодонтом ты уже договорился?

– Терпение, мой друг, терпение. Ничего от тебя не скрою... Как математик, я всегда стремлюсь не к максимально скорым ответам, а к максимальной пользе.

Между тем начался разъезд посетителей – замолкла гитара, певица, путаясь в своем длинном платье, как рыба в сетях, жеманно склонилась в прощальном поклоне, подавальщики с редкой элегантностью прятали в карман чаевые и уносили на подносах обеды.

– Поехали, – сказал Идельсон и по-юношески вскочил с плетеного стула. – Не забудь свой плащ. Франсуа! – крикнул он гардеробщику. – Плащ господину...

И он назвал мою фамилию.

Я накинул на плечи свою давнюю заграничную – гэдээровскую – покупку, кивком поблагодарил седовласого, похожего на маршала Фоша гардеробщика и забрался в «Пежо».

– Запомни этот адрес... Ты можешь приходить сюда и без меня, когда только пожелаешь... Все предупреждены, и за все заплачено на неделю вперед... Выбирай в меню все, что твоей душе

угодно... Во что ткнешь пальцем, то тебе и принесут на блюдечке с золотой каемочкой. В случае чего, позови Франсуа. Он – сын русского дворянина, переведет. Спокойной ночи!

2

Спокойной ночь не была. Не потому, что в гостиницах без снотворного я вообще не засыпал, а потому, что нечаянная, после долгой разлуки, встреча с Идельсоном, его предложение пристроить меня к какому-то делу, требующему, как и писательство, вымысла, спасительной, с отрывками правды, лжи, и вовсе сбили меня с толку и зарядили будоражащим душу током. Я не гадал и не чаял, что не пройдет и дня, как все мои привычные представления о Натане как о человеке не от мира сего, чуть ли не подвижнике, всецело погруженном в свою науку и с каким-то жертвенным упорством и стойкостью избегающем всяких житейских удовольствий и искушений, вдруг скукожатся, почти рухнут. С самого начала, когда его лысина сверкнула за стеклянными дверьми аэропорта Орли, что-то в нем меня насторожило, но я не придавал этому никакого значения, шутка ли – с той поры, как мы последний раз с ним виделись, прошла целая вечность. Насторожила меня не его изменившаяся внешность, хотя и она ошеломила меня, ибо никак не вязалась с давно и прочно созданным мной образом. Идельсон производил впечатление не рыцаря науки, не профессора Сорбонны, не ученого, корпящего над разгадкой каких-то сложных и запутанных тайн вселенной, а вполне заурядного делового господина, скорее коммивояжера или страхового агента. Поражала и его одежда – на нем были короткая, плотно облегающая талию джинсовая куртка и такие же брюки; он носил большие солнцезащитные очки, какими обычно пользуются гонщики и альпинисты (как позже выяснилось, Натан на самом деле любил совершать лыжные восхождения в горы). Над головой у него покачивался бумажный плакатик, на котором каллиграфическим почерком, крупными буквами, как на надгробии, была выведена его фамилия – Идельсон, видно, Натан не доверял ни своей, ни моей памяти. Да это было и не уди-

вительно. После стольких лет немудрено и не узнать друг друга.

Ворочаясь с боку на бок в постели в дешевой монастырской гостинице, где, кроме кафельного туалета в старческих венозных синяках и капризного душа, из которого хлестала либо горячая, либо холодная вода, никаких других удобств не было, я до боли в зрачках глядел на потолок и рисовал взглядом того, прежнего, Идельсона.

По старинному, облупившемуся потолку, как по коммунальной кухне на проспекте Сталина в Вильнюсе, расхаживала моя мама, боготворившая Идельсона (ну как же: если бы не он, то мыкаться бы ее сыночку в одном классе по два года) и всегда – через меня – приглашавшая сироту на субботний обед.

Вот и сейчас я увидел на потолке, как она накрывает белой праздничной скатертью стол, как ставит дымящийся довоенный чугунок с нашим любимым блюдом флойменцимесом – тушеной морковкой с черносливом, и услышал, как без всякого стеснения принимается пилить меня за мою неважнецкую успеваемость и губительную для еврейского народа леность.

– Скажи, Натанчик, почему мой шлимазл у тебя списывает задачки, а не ты у него? Почему ваш премудрый Вульф вызывает в школу и устраивает взбучку мне или Шлейме, а не твоей тете Брайне?.. У него что – не такая голова, как у тебя? Он что – тупица?

– Голова такая же, Евгения Семеновна, – поддев вилкой сливу, выдавливая застенчивый Идельсон, обращавшийся к моей маме по имени и отчеству на популярный русский лад. – Может, у него даже лучше моей. Какие он стихи пишет!..

– Стихи, стихи, – передразнивает Натана моя мама на потолке. – Зачем еврею стихи? Ты можешь, сердце мое, сказать мне: зачем евреям стихи? Что – без них на свете прожить нельзя? Я же вон прожила, родители мои прожили... дед и баба тоже... Мы ни одного стиха сроду не знали. И что – умерли? Пусть их русские пишут. Им все можно.

– Ну как же... – робко возражает Идельсон.

– Евреям, Натанчик, только две вещи нужны: здоровье и деньги. Правильно я говорю?

– Правильно, – кивает Идельсон. Когда тебя ждут еще три блюда – куриная шейка, суп с галками из мацы и тейглех – медовые

пряники – на закуску, спорить с хозяйкой накладно: недодаст или недольет.

– А у моего Пушкина-Шмушкина, если дело так пойдет и дальше, ни здоровья, ни денег не будет.

От белой простыни и подушки пахло не стиральным порошком, а елеем; елеем веяло и от клубившейся в номере (четыре метра на два с половиной) тишины, а, может, это мне только мерещилось при зыбком лунном свете, струившемся через зарешеченное оконце и выхватывавшем из темноты то фартук моей мамы, то голову Идельсона со спрятанными в чуприне авто-ручками производства фабрики Сакко и Ванцетти, то мое, еще не тронутое невзгодами глуповато-довольное лицо.

Рисунки на потолке сменялись со скоростью мысли, сливаясь, накладываясь друг на друга. Они то вспыхивали, как на экране, то тускнели, неуловимо смешивались с тем, что было в келье рядом с ними, но что не трогало мою душу, не имело для меня ровным счетом никакого значения – с маленьким, как ящик, поставленный на попа, письменным столом, с настольной лампой под абажуром, смахивавшей на нахохленного попугая, с морским побережьем в застекленной рамке на стене.

Я торопил утро, хотя и не представлял себе, чем завтра займусь, куда пойду, с кем встречусь, но утро словно глумилось над моей торопливостью, оттягивая свой приход и обрекая меня на еще более томительное ожидание.

Иногда я закрывал глаза и, чтобы приманить сон, принимался считать – один, два, три... сорок... семьдесят пять... сто двадцать... – но сбивался со счета, и снова вперял взгляд то в приморский пейзаж на стене, то в потолок, творивший химеры и кишевший полузабытыми образами.

Чаще других там, на досягаемой-недосягаемой высоте, возникали мама, Вульф Абелевич Абрамский, однокашники на школьных танцульках и – как ни странно – похороны. Впрочем, в возникновении похорон ничего странного не было. В ту пору, когда с каштана, высаженного ясновельможным паном Пионтковским, в шестой класс гимназии залетали доверчивые птицы, я еще зеленого понятия не имел, что есть такой возраст – умиральный и что он когда-нибудь наступит. Возраст, когда хоронишь своих близких

и когда твои друзья хоронят тебя. Тогда, во времена вельможного каштана, я был еще так бестолково молод и так наивно бессмертен.

До утра было по-прежнему далеко.

Потолок в монастырской гостинице на тихой рю Декарт творил чудеса – плодил евреев.

Натан Идельсон стоит в сторонке от гроба, установленного в нашей квартире на проспекте Сталина, и нервно жует свои толстые губы. На его чуприне красуется ермолка. Я впервые вижу его в таком головном уборе. Он издали смотрит на стол, где недвижно лежит моя мама, и, наверно, вспоминает ее флойменцимесы, ее рубленую печенку, ее куриные шейки, ее тейглек, ее имбирь, ее ворчливую, кошерную доброту.

– Радуйся, – говорит он на обратном пути.

Я вздрагиваю. Какая же тут радость?

– Радуйся! – повторяет он. – Я, например, не знаю, где лежит моя мама... И никогда уже этого не узнаю... и ее могиле никогда не поклонюсь... А ты знаешь... А ты сможешь приходить сюда и гладить камень...

Натан замолкает и через мгновение произносит:

– Мы к ней вместе будем приходить. Ладно?

– Ладно.

– Ты как к своей и я как к своей...

Все мои мысли были заняты Идельсоном, я пытался наспех, мучаясь бессонницей, разобраться в своих сумбурных ощущениях, навеянных его предложениями, приятными намеками на какой-то доступный мне, не знающему французского языка, заработок, который, как выразился Натан, не требует усилий и возрастает от степени правдоподобного и искусного вранья. Меня смущали не только несовместимости в его натуре – то безоглядно сорит в кафе деньгами, оплачивает все расходы на целую неделю вперед, то откровенно экономит их на более чем скромной гостинице, где и повернуться-то, не стукнувшись лбом об стену, невозможно. Повергали в растерянность его признания о том, что в свое время он и сам не чурался того рода занятий, какой предлагал мне.

В глазах рябило от темноты, от безуспешных попыток хотя бы

на час-другой забыться коротким заячьим сном, чтобы назавтра не зевать на миру, не валиться с ног при людях. Но, видно, нет на свете будильника безжалостней, чем мысль.

Отчаявшись одолеть бессонницу, я зажег свет и принялся ходить взад-вперед от дверей до забранного в решетку оконца. Мои шаги оживили тишину, от вспыхнувшего огня ночника вдруг встрепенулся и прилепившийся к стеклу Бог весть как попавший сюда мотылек, в келье стало одним живым существом, не нарисованным воображением, больше. Мотылек заметался между прутьями решетки, пытаюсь вырваться прочь. Наблюдая за его бессмысленным, обреченным полетом, я открыл форточку в надежде на то, что он вылетит из кельи, но он продолжал метаться, и в его метании было что-то такое, что роднило нас в этом прекрасном, чужом городе, и я за это негаданное родство и сопричастность испытывал к нему какую-то жалостливую благодарность.

Когда ходьба наскучила, я сел за стол, на котором чернел проспект отеля с кратким описанием его славной истории, восходившей чуть ли не ко временам Людовиков, о чем свидетельствовали две цветные фотографии, и уставился на пустое морское побережье в стеклянной рамке.

Насладившись морским воздухом и ночным шумом волн, я выдвинул верхний ящик стола, вытащил оттуда ютящееся во многих гостиницах мира Священное писание на французском и английском языке и принялся листать приложенные к нему карты древнего Израиля с Иерусалимом и Хевроном, Вифлеемом и Назаретом. Не прошло и четверти часа, как их сменил Вильнюс, а праведников и апостолов – Вульф Абелевич Абрамский и тот же Натан Идельсон, приславший через моего приятеля, знаменитого литовского певца, гастролировавшего во Франции, нашему учителю три пакетика с дорогими и редкими лекарствами из Парижа.

– Это вам, Вульф Абелевич, от Натана, – говорю я, входя в палату и протягивая посылочку. – Покажите их своему доктору.

Абрамский приподнимает голову с подушки, подтягивает под белую простыню ноги, глядит на меня из-под пенсне, с которым ни на минуту не расстается, и тихо произносит:

– Спасибо... Значит, он получил мое письмо... Но я у него ничего

не просил... только написал, что и как... Боюсь, что его лекарства уже не помогут.

– Вы поправитесь, – неуверенно возражаю я. – И, Бог даст, еще встретитесь с Идельсоном. Сейчас перестройка... Открываются ворота...

– Перестройка, ворота... – хмыкает он. – Разве можно латать то, что надо выбросить на свалку? – Вульф Абелевич вдыхает впалой грудью теплый палатный воздух и продолжает: – Жаль, конечно, что Идельсона не будет рядом, когда... – и он обрывает фразу, как провод. – Но я сам виноват, – Абрамский снова делает долгую и томительную паузу. – За день до того, как пришли русские и освободили нас из лагеря, он уговаривал, просто умолял меня податься на Запад... Но я, идиот, наотрез отказался... Меня тянуло обратно... на родину... в Литву... Будь, дружок, добр – открой форточку! Что-то очень душно...

Я открываю форточку; в палату струится вечерняя прохлада; неугомонный ветерок своим невидимым опахалом обвеивает лицо Вульфа Абелевича, волосы, руки.

– И что меня, спрашивается, тянуло? Родственники? Я нашел только братские могилы. Старые мои ученики? Их почти всех до единого извели... Грифельная доска, у которой я простоял до войны двадцать лет? С нее все стерли – язык, числа, имена. Так что же? Что? Ты писатель – тебе-то положено знать, что...

– А вы... разве вы не знаете?

– Не знаю. С недавних пор я стал сомневаться, есть ли вообще правильные ответы, кроме одного единственного – жизнь равняется смерти...

Вульф Абелевич замолкает, протирает простыней пенсне, водружает его на переносицу и смотрит на меня так, как если бы я не у больничной койки сидел, а, растерянный от своего беспробудного невежества, торчал у классной доски, переминаясь с ноги на ногу.

– Да ладно, не будем... – Он сгребает с тумбочки пакетик с лекарством, вслух прочитывает на французском языке название... – Видно, большие деньги выложил...

– Главное, чтоб помогло.

– Спасибо... – Абрамский супит брови. – А я, честно говоря,

думал, из вас... – он называет меня не по фамилии, как в классе, а по имени, – никакого толка не будет... Помните, как вы благим матом кричали: «Атас, Троцкий идет!» Не вы ли с Файном на меня карикатуры малевали? Вместо головы десятикратно увеличенное пенсне, длинное, худящее туловище и подпись: «Вульф вышел из пункта "А" в пункт "Б", но завтра, к нашему сожалению, вернется...» Тогда это было ужасно смешно, поверьте, я сам хохотал над этим, а теперь... Теперь уж, действительно, я скоро покину пункт "А", но из пункта "Б" уже не вернусь... Третий, как-никак, инфаркт.

– Ну что вы! – пытаюсь я утешить его.

– Есть одно уравнение, которое каждый решает самостоятельно и решения ни у кого не списывает. Как там у вашего собрата по перу: «Каждый умирает в одиночку». – Он садится, подбирает под себя ноги по-турецки, взбивает подушку и кладет ее на колени. – Если вы когда-нибудь встретитесь с Идельсоном, скажите ему, что было время – уже после нашего возвращения из лагеря, – когда я хотел его усыновить. Но убоился – а вдруг поднимет на смех. Как вы думаете: ему бы разрешили приехать на похороны, будь он моим приемным сыном?..

Я по-дурацки киваю головой.

– Это, конечно, глупо, но мне очень хотелось бы, чтобы он шел за моим гробом, хотя я не хотел бы, чтобы он увидел меня мертвым... я и живой – не красавец...

Ночь, подхлестываемая моей бессонницей, шла на убыль – темно-синее сукно небосвода медленно и неохотно выцветало, в коридоре гостиницы на рю Декарт звякнуло ведро – видно, проснулась уборщица-арабка, но прибавление света снаружи не увеличивало его внутри – меня по-прежнему угнетала моя раздвоенность, я, как тот мотылек, метался между стенами, между городами и странами; в крохотный номер гостиницы из вечного пункта "Б" возвращался Вульф Абелевич Абрамский, как будто не было похорон, тяжелого дубового гроба, за которым шли все оставшиеся в Вильнюсе пятерочки и двоичники, которых он учил и которые еще не успели эмигрировать в благословенную Америку, прощенную Германию или уехать на историческую родину в Израиль; напротив пахнувшей елеем постели выростал

тенистый каштан, и, дожидаясь утра и защищаясь от соблазнов, которыми, словно муравейник, кишел Париж, от незаслуженной доброты своего однокашника Натана Идельсона и от собственной неприкаянности, я терпеливо собирал каштаны и вылущивал из их рябой скорлупы спелые воспоминания. В моей голове смешивалось все: от послевоенных дармовых пончиков, которые гимназисты получали на завтрак, до устриц и креветок в кафе на набережной Сены, от зычного голоса нашего гимназического маршала Михаила Алексеевича Антоненкова до разжалованного Октябрьской революцией в гардеробщики потомственного дворянина мсье Франсуа, от моей мамы, на Рош Хашана пекущей на коммунальной кухне пирог с божественной корицей до уборщицы-арабки с мусорным ведром в руке и с наемной улыбкой на лице.

Я и не заметил, как перед самым рассветом уснул сидя за столом. Мне снился Вильнюс, сорок восьмой год, первая мужская гимназия, наш класс, выходявший окнами в облюбованный птицами и пьяницами сквер; в классе только двое – моя мама и вместо строгого Вульфа Абелевича сошедший с портрета генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин в парадном мундире и фуражке с позолоченным ободком. Мама держит на коленях большую эмалированную миску с маковыми пирожками, испеченными к празднику Пурим, и с обожанием смотрит на вождя и учителя. Сняв с миски чистое льняное полотенце, она протягивает свои дары державному грузину:

– Угощайтесь, дорогой Иосиф Виссарионович, – говорит мама.
– Исконное еврейское кушанье – гоменташи. Или уши Амана, который, как и немцы, хотел известить наш народ. Сама пекла. Угощайтесь!

Генералиссимус погружает свою величественную руку в миску, выуживает оттуда пирожок с маком, обнюхивает его, как усатый кот, и подносит к губам.

– Вкусно! – хвалит он маму, вгрызаясь в печиво.

Но ей такой похвалы мало, ей нужна другая похвала. И не о ее удивительном умении печь, а о ее сыне – начинающем русском стихотворце.

– Кушайте на здоровье! – тараторит она. – Я вам еще испеку...
А стихи вы любите?

– Люблю, – отвечает владыка. – Кто же их не любит?

– Сын мой пишет стихи. Вы, скажите, случайно в газете не читали?

– Нет, – на многомудром челе Сталина залегает глубокая, хмурая складка. – А в какой, уважаемая, газете? Обо мне тысячи стихов сложено...

– В «Пионерской правде». На первой странице, где соединяются пролетарии всех стран... Называется «Домик в Гори». Про вас... про вашу родину – Грузию... Очень хорошие стихи... Будет время, прочтите!

– Обязательно прочту, – Сталин снова запускает руку в миску, достает еще один пирожок, надкусывает своими пожелтевшими от курева зубами; мама, застыв, смотрит ему в рот – она верит (кому верить, если не ему?), что он и впрямь прочтет, что с трибуны мавзолея объявит на всю страну, на весь мир, какой у нее сын, не тупица и не лентяй, а известный писатель, и тогда не страшно будет умереть, тогда даже глиняный холмик на кладбище покажется маковым пирожком.

– Мама! – стыдись ее беспардонной просьбы, ее унижения, ее любви, закричал я, и собственный крик разбудил меня, как залиvistое кукареканье петуха; я открыл глаза, отряхнул с себя, словно брошенный в студеную воду щенок, липкие клочья нелепого сна – ведь я о Сталине и о своем стихотворении вроде и помнить-то не помнил.

Утро. Слава Богу, утро.

Скорей под душ! Я втиснулся в безбожно тесную, как газовая камера, душевую, встал под жестяной, как бы изъеденный червями, груздь, и из каждого его отверстия на меня вдруг низверглась холодная, освежающая благодать. Струи хлестали в лицо, и я постанывал от удовольствия.

Но благодать, видно, на то и благодать, что нисходит редко, а уходит быстро.

Так случилось и со мной. Я снова – уже при дневном свете – почувствовал что-то похожее на тревогу, и снова сомнения, которые одолевали ночью и которые, вместе с усталостью, казалось бы, смыла колющаяся огородной крапивой ледяная парижская вода, закрались в мою душу. Надо ли было по первому

зову да еще на деньги Натана сюда приезжать? Не лучше ли было бы, если Париж остался бы для меня неразгаданной тайной – ведь он в любом случае, исколеси я его вдоль и поперек, облазь все его чердаки и крыши, такой тайной и останется. Стоит ли томиться от ожидания и неведения, зависеть от изменчивого настроения и сумасбродных замыслов своего друга.

Расставаясь вчера в шумном вестибюле гостиницы, предприимчивый Идельсон, проявивший обо мне трогательную заботу, то ли по свойственной ему рассеянности, то ли по другой причине забыл условиться со мной о новой встрече. Я, конечно, был ему благодарен за то, что он мелочной опекой или, что еще хуже, недоверием не стесняет мою хрупкую свободу, но она и без того до крайности была ограничена незнанием языка, города, нравов. Ее, чего греха таить, сковывали и старые сантименты к моему однокашнику, потребность, пусть и в мимолетном, нелегком, но ничем не заменимом общении с человеком, который до своего отъезда из Литвы приходил на могилу моей матери, как на поклон к своей.

Как же я был посрамлен за свои сомнения, когда раздался стук в дверь – телефона в номере не было, – и на пороге засверкала знакомая, с седыми завитками на затылке, лысина, а за спиной Идельсона, как декоративное растение, выросла молодая женщина в легком демисезонном пальто и в берете *a la Greta Garbo*.

Пропустив свою спутницу вперед, рослый Натан нагнул голову, вошел в номер, взглядом комиссара полиции нравов окинул мою монашескую келью и сказал:

– Пять минут на сборы.

– Прошу прощения, – смутился я. – У меня постель еще не застелена.

Спутница Идельсона понимающе улыбнулась.

– Собирайся побыстрее! Грешно тратить время впустую. Ну как спалось? Какие сны снились?

– Сталин снился, – невесело произнес я.

– Сталин... А я-то думал – обольстительная монахиня... Пришла и вместо того, чтобы обратить заблудшего еврея в христианство, стала учиться у него тонкостям и прелестям любви. Ты же не по

алгебре, а по этой части, кажется, был в краю отцов не из последних молодцов...

Натан был в хорошем настроении – он просто излучал доброжелательность и терпение. Женщина смотрела на него с насмешливым обожанием.

– Знакомься: Николь. Мой друг.

– Очень приятно, – пробурчал я, приведя наконец постель в образцовый казарменный порядок, и назвал свое имя.

– Николь немного говорит по-русски... она со-ве-то-лог... – последнее слово Идельсон произнес по складам. – Восхищается Горби и вашим Ландсбергисом.

– Нейтан, как всегда, преувеличивает, – засмеялась Николь.

– Ты готов? – осведомился мой однокашник.

– Да.

– Николь будет с тобой неотлучно до самого вечера, – объявил Идельсон. – Я не могу – у меня две лекции... И доктор... Приходится и к докторам ходить... Встретимся после семи... Там же... на набережной. А пока – *aurevoir* и приятного времяпрепровождения. Только смотри – не вздумай умыкнуть мою добычу в Литву. Чтоб вернул ее в целостности и сохранности. Понял? Она влюбчива, как мартовская кошка...

– Верну. Можешь не беспокоиться.

– А если я захочу... – оскалила свои голливудские зубы Николь.

– Чего захочешь?

– Не вернуться. Ты, Нейтан, старый и лысый, а твой друг... как это по-русски называется?..

– Молодой? – поощрил ее игривость Идельсон.

– Нет... Но очень и очень *charmant*...

– Милый, – без большого восторга перевел Идельсон, хотя тут-то перевод и не был нужен. – Итак, ровно в семь...

Мы скромно позавтракали в бистро у овощного рынка и отправились без разбору бродить по Латинскому кварталу, по его замысловатым улицам, то вонзающимся, как рапира, в небо, то камнепадом, низвергающимся в невидимую пропасть; ноги у меня гудели, но Николь не унималась, подхлестывала меня молча, плутовским взглядом; упивалась своей неутомимостью и услужливостью; иногда мы присаживались на скамейку и подолгу

наблюдали за стайками тучных, не утруждавших себя полетом голубей, которых подкармливали чинные сердобольные старушки в буклях и импозантные старцы в широких боевитых беретах времен французского Сопротивления.

Иногда Николь прерывала свое молчание, вызванное трудностями с русским языком, и задавала неожиданные вопросы, не имевшие никакого касательства к советологии или к моему другу Идельсону.

– Вам нравятся француженки?

– Да, – ответил я, не желая слыть ханжой.

Николь была намного моложе Натана – лет эдак на двадцать, не меньше, но их связь, как мне показалось, была давней и скорее интимной, чем дружеской.

Я ни о чем, естественно, не допытывался у нее. В конце концов не мое это дело копать в личной жизни друга, через неделю мы расстанемся с ним навеки, я никогда больше не увижу Николь. Еще не хватало, чтобы он и вправду приревновал ее ко мне.

– В Париже даже статуи не имеют равнодушие к женщинам, – произнесла Николь коряво и симпатично. – Это правда, – продолжала она без всякой связи с предыдущим, – что вы с Нейтаном учились в Вильнюсе в одной школе?

– Правда.

– И я с ним училась в одной.

Я недоверчиво глянул на нее.

– Правда, правда. Разве Париж – не школа любви?

– Не знаю...

– Нейтан – хороший ученик, – выпалила она, не чинясь, и громко рассмеялась. – Он учился на одни пятерки... А вы, мсье, я слышала, иногда списывали у него. Да? Списывали?

– Был такой грех... – признался я.

– В школе любви это невозможно...

И снова засмеялась.

Засмеялся и я. Ее искренность была заразительна, и я отвечал своему гиду тем же.

Николь взяла меня под руку и, не переставая смеяться, повела к знаменитому Белому костелу, пасхальным пряником маячившему на пригорке.

– Нейтан хочет, чтобы мы когда-нибудь тут... как это называется по-русски?

– Обвенчались, – подсказал я.

– Обветшались? – переспросила она.

– Об-вен-ча-лись.

– Ух, – вздохнула Николь и изобразила жестом фату. – Да?

– Да.

Ну и что, что она на двадцать лет моложе? Пусть только Натан-Нейтан будет жив-здоров. Пусть Господь Бог вознаградит его за все его прошлые страдания, за сиротство, за бездомность, за мужество начать все сначала.

– Мсье Идельсон уже ждет вас, – вежливо предупредил утративший в огне революции свои поместья, но не дворянское достоинство и воспитанность седовласый Франсуа.

– Нейтан, мы голодны, как черти ! Да?

– Да, – сказал я.

– Много кушать вредно, Николь... – пошутил тот и обратился ко мне. – А для тебя у меня новость... Завтра вечером ты приступаешь к работе. И никаких возражений!..

3

Идельсон уверенно, по-хозяйски вел машину по ночному Парижу, положив на руль свои длинные, поросшие рыжеватой растительностью руки; за окнами юркого «Пежо» мелькали, как допотопные чудища, памятники и арки, фасады домов добротной, незыблемой кладки, проносились одинокие фигуры прохожих – то загулявших в каком-нибудь укромном пивном подвальчике клошаров, то вольных, с изломанной, зазывной походкой девиц, еще не утративших недорогостоящую, но ускользящую с приближением безгрешного утра надежду заарканить взаплавшего платной нежности партнера...

Я молча сидел рядом с помолодевшим от еды и выпивки Натаном и не мог нарадоваться его сноровке. Быстроногий кремовый жук перелетал с одной улицы на другую, со старинной площади на новую – с цветными клумбами и задиристыми фон-

танчиками, из одного парижского округа в другой. Казалось, Идельсон управлял не машиной, а самим Парижем, затихавшим от дневных трудов и борений, от торговой суеты и спешки.

На заднем сидении дремала разморенная бургундским Николь. Она сладко, почти по-детски посапывала, и это посапывание доставляло Идельсону нескрываемое удовольствие; он то и дело оборачивался, чтобы убедиться в безмятежности и защищенности ее сна, словно кто-то посторонний мог его нарушить. Я прислушивался к ее негромкому дыханию; вопросы, изрядно прибавившиеся у меня за день, смиренно глохли от присутствия спящей женщины, и я чувствовал себя так, как если бы очутился в чужой спальне и стал соглядатаем того, что третьему видеть не положено.

Неугомонный кремовый жук жадно, как саранча, пожирал расстояние.

Через четверть часа «Пежо», по моим прикидкам, должен был въехать в Латинский квартал.

Но Идельсон, кажется, не торопился, угрюмо молчал – непохоже было, что он собирается со мной до прощания – да что там до прощания – до отлета в Литву заговорить. Натан оберегал свое молчание, как скопидом свои честно нажитые сбережения. Навязываться же со своими разговорами было неудобно, хотя меня так и распирало от такого желания.

И вдруг его молчание дало трещину. Он принялся что-то тихо насвистывать – кажется, «Осенние листья» Леграна, притормозил, в очередной раз обернулся на спящую Николь и спросил:

– Как она тебе?

– Ты еще спрашиваешь? – обрадовался я его вопросу.

Мой ответ пришелся, видно, ему по нраву.

– А разница тебя не смущает? – бросил он через плечо, намекая на молодость Николь.

– Если тебя она не смущает, почему она должна смущать меня? Любви все возрасты покорны.

– Пушкин?

– Да... «Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны», – повторил я, не позволяя ему снова улизнуть в молчание, как в мышиную норку.

С минуту я выждал и ринулся в атаку:

– Натан! Хватит играть в прятки. Кто этот твой клиент, и что я конкретно должен буду делать?

– Только тише – Николь разбудишь. Ты мне скажи: Литву ты хорошо знаешь?

– Неплохо... Без малого одиннадцать лет на киностудии отработал. Во время съемок успел исколесить всю республику вдоль и поперек. Побывал почти во всех городах и местечках.

– В Тельшяй бывал?

– Конечно.

– Мсье Майзельс – твой первый клиент – как раз оттуда. Из Телж, как он говорит. Уехал шестнадцатилетним юношей. Скоро старику стукнет девяносто... Из них в Литве не был семьдесят четыре... Извини, кажется, впереди бензоколонка... Надо бы подзаправиться.

Идельсон осторожно вырулил на площадку, где не было ни души. Пока он искал заправщика, я пытался обдумать, как же мне все-таки поступить. Проще всего было бы отказаться от предложения Натана, сослаться на нездоровье, усталость, стеснительность, неумение говорить правду или врать по заказу, с бухты-барахты вторгаться в чужую жизнь, но для Идельсона, увы, не все, что звучало просто, было убедительно. С другой стороны, в его предложении было что-то заманчивое, притягательное, и искус состоял не в оплате, а в совершенно ином вознаграждении – возможности помочь кому-то, прикоснуться к чему-то новому, дотоле неизведанному.

Я мысленно пытался войти в положение тех, кто шестьдесят или семьдесят лет был оторван от своих – как их ни называй – истоков, пенатов, начал; тех, для кого название какого-нибудь затерявшегося в Жемайтии или Дзукии городка по сей день звучало незамолкшей музыкой детства. Мсье Майзельсу или какой-нибудь мадам Финкельштейн, вероятно, страсть как хотелось еще раз – может, последний – заглянуть за ширму времени: побывать там, в тех городках и местечках, куда им, старикам, уже не попасть. Не попасть не потому, что они не в силах наскрести на билет, а потому, что не в состоянии подняться по трапу «Боинга» или «Каравеллы» и спуститься на ту землю, где они

появились на свет. Поэтому-то они готовы щедро отблагодарить залетного гостя только за кратковременную, как вспышка магия, иллюзию, за легкое и уже неболючее прикосновение к тому, что хоть и будоражило память, но давно лишилось цвета и звука, объема и запаха.

Все вдруг прояснилось; Господь Бог смилостивился надо мной и просветил мой изнуренный догадками разум. От Натана уже не требовалось никаких разъяснений. Если я не заартачусь, не буду ломать из себя девственника – бессеребряника и моралиста – и соглашусь с тем, что мне по-дружески предлагает Идельсон, завтра же вечером я стану на неделю продавцом снов и начну торговать ими оптом и в розницу; кормить своих клиентов смесью актерства и сочинительства, что-то изображать, возможно, петь, рассказывать – словом, во всю мощь своих легких дуть на кучу пепла в надежде на то, что из нее снова воспламенится костер, когда-то ярко горевший, но безнадежно потухший – похоже, навеки.

Заправщик наполнил бак, Натан расплатился, сел за руль, привычно обернулся назад, довольно глянул на Николь и скомандовал самому себе:

– Поехали, Идельсон!

«Пежо» выкатил на скоростную дорогу и, обгоняя другие машины, полетел вперед.

– О чем, дружок, думал? – бодро спросил Натан, и в его бодрости не было ни деланности, ни натужности. Казалось, на запруженной светом бензоколонке в него самого влили какое-то горячее, которое весело и непринужденно растекалось по жилам и ускоряло течение крови.

– О разном.

– Бреши, бреши. Оставшись наедине с хорошенькой женщиной, спящей за спиной, настоящий мужчина о разном не думает...

– Значит, я не настоящий мужчина.

– Ну, ну!.. Признайся, сколько за свою жизнь перепробовал?

Он совсем не напоминал недавнего молчуна и, чем ближе было до моей гостиницы, тем громче Идельсон говорил.

– А я – грешник... Был женат дважды... Но больше ни-ни... А ты?..

– Я только раз. И тоже ни-ни...

До этого Натан избегал разговоров о своей семье; не спрашивал и о моей. Его нисколько не интересовало, кто моя жена, сколько у меня детей, жив ли мой отец, сшивший Идельсону в подарок выходной костюм из йоркширской шерсти, в котором Натан транзитом и отправился через Польшу из майской ливневой Литвы во Францию. Я ничем, кроме боязни уснуть за рулем, не мог объяснить этого внезапно вспыхнувшего его интереса, этого неожиданного и резкого перехода от моего первого клиента к чему-то такому, что не имело никакого отношения к состоятельному старику Майзельсу, страстно жаждавшему, по словам Натана, встречи со своим земляком.

– Нейтан, – послышалось сзади.

Николь продрала залепленные клейким сном глаза, оглянулась и капризно о чем-то спросила Идельсона по-французски.

Он что-то на том же французском с загадочной, чувственной улыбкой ответил; я, невежда, естественно, ни бельмеса не понял, кроме вычитанного то ли у Мопассана, то ли у Флобера расхожего обращения «моя любовь».

До самой гостиницы они продолжали ворковать на своем языке, как будто, кроме них, в машине никого не было – ни меня, ни каштана, высаженного ясновельможным паном Войцехом Пионтковским, ни птах, залетавших в открытое настежь окно шестого класса первой Виленской гимназии, ни нашего учителя Вульфа Абелевича, ни моей, накрывающей субботний стол мамы. Я смотрел на поблескивающий асфальт, покрытый пятнами света, как весенними лужицами, и в моих ушах звучало: «моя любовь», «моя любовь», «моя любовь».

У гостиницы машина скрипнула тормозами; Натан, почувствовав неловкость, толкнул меня локтем в плечо и, перейдя на русский, с подчеркнута грубоватым дружелюбием сказал:

– Вытряхивайся!.. Завтра Николь сходит с тобой в Собор Парижской Богоматери и в Лувр... А то ты уже тут третьи сутки, но, в сущности, ни хрена еще не видел... А об остальном мы вроде бы договорились. К Майзельсу я тебя сам отведу...

Николь высунула из окна свою каштановую голову и помахала мне ручкой. Она долго шевелила в переливчатом свете уличных

фонарей своими тонкими пальчиками с покрашенными ногтями, словно, молясь, перебирала янтарные четки.

Лифт не работал. Я не спеша поднялся на крутой четвертый этаж, вошел в свою келью, не зажигая света, разделся и завалился спать.

Сон объял меня, как ветер скошенный сноп в поле.

Мне снился тот самый, высаженный ясновельможным паном Пионтковским каштан. Каштан как будто усыпан не спелыми плодами, готовыми вот-вот освободиться из своего коричневого узилища, а моими однокашниками. На нижних ветках, болтая ногами, обутыми в ботинки фабрики «Скорострел», сидят Лука Георгиев – сын православного протоиерея Виленского Свято-Духова монастыря; Сема Зарецкий, по прозвищу Тоший Сплетник, с незаслуженным и Бог весть где добытым значком «Ворошиловский стрелок» на груди; Ильяка Богуславский – верзила и задира, тайком потягивающий вонючую папиросу «Арома»; Слава Тихончик в вязаном свитере и лыжной шапочке; повыше, там, где ветви густо переплетались друг с другом, качаются, как на качелях, Натик Идельсон, смачно уминающий бутерброд с сыром «Шетас» и листающий той рукой, на которой выжжен лагерный номер, новехонький учебник алгебры; Витька Тягунов – капитан юношеской сборной Литвы с победным волейбольным мячом под мышкой и я сам, громоподобным голосом читающий Арику Берлину, первому тенору школьной самодеятельности, юному философу, автору трактата о париях и плебейх в древней Индии, стихи собственного разлива, пусть и корявые, но очень нравящиеся в соседней женской гимназии.

– А ну-ка, слазьте! – кричит директор гимназии, историк Михаил Алексеевич Антоненков. – Где это слыхано, чтобы ученики на деревьях торчали?

Кричит и звонит в колокольчик. Но класс не слушается. На дереве лучше, чем за партами.

В ветвях озорует ветер. Только раздвинь их рукой, – и откроется безбрежный простор с молочными облаками, со шпильями костелов, островерхими крышами, кирпичные клавиши которых – если только прислушаться – исторгают дивные, полузабытые звуки.

Шум, гам, ор.

– За самовольный уход с урока всем ставлю двойки, – говорит Вульф Абелевич не столько классу, повисшему на ветках, сколько директору Михаилу Алексеевичу, желая проявить перед ним свой несгибаемый характер. – Немедленно ступайте в класс!

Но никто из его подопечных и не думает ему подчиниться.

– Слазьте! – надувая щеки, требует наш попечитель и моральный гарант орденосный Антоненков и, убедившись в тщете уговариваний и увещеваний, поворачивается к открытому окну директорского кабинета и с какой-то злобной торжественностью восклицает: – Николай Николаич! Пилу! Принесите пилу!

Вместе с военруком, одноруким Эн Эном, как его называли гимназисты, во двор высыпают все учителя. Подходят к каштану, задирают головы, укоризненно разглядывают бунтовщиков.

Эн Эн из серого здания гимназии одиноко и гордо выносит, как поверженное фашистское знамя на Красной площади на параде Победы, пылившуюся в подсобке довоенную пилу.

Историк Михаил Алексеевич берется за один ее конец, военрук – за другой, и начинается нудная и кропотливая пилка. Жжик-жжик, жжик-жжик!

Ствол у каштана толстый, пила ржавая, скрипучая, у неутомимых вдохновенных пыльщиков только три руки (Вульф Абелевич в пыльщики не годится – глядишь, не то перепилит). Михаил Алексеевич и Эн Эн пилят и пилят, а каштану хоть бы хны – ни зазубрины, ни отметины.

Пилят и пилят.

Вытирают пот и снова пилят.

Весь класс сидит на невредимом, как бы заклятом дереве, кора которого словно отлита на танковом заводе. Болтают ногами, надрывают животики; сквозь зеленые расщелины в густой кроне с неба струится голубая благодать, несравнимая ни с геометрией, ни с историей Великой, Малой и Белой Руси, ни с устройством советской винтовки образца такого-то и такого-то года.

Когда я проснулся, скрип пилы умолк не сразу – по привитому сызмальства обыкновению бедняги-дровосеки все еще пытались перепилить то, чего сами не высаживали.

Я побрился купленным накануне в лавчонке ласковым, как само утро, "Gillette", влез в легкие чесучевые брюки, надел новую рубаш-

ку с накладными карманами и легионерскими погонами, причесался перед осколком крохотного зеркала, побрызгал волосы цветочным одеколоном и, ужаснувшись его резкому провинциальному запаху, спустился в вестибюль, где толпилась стайка индусов с белыми тюрбанами на голове, напоминавшими взбитые сливки, отдал портье ключ и вышел на улицу.

Боязливо принохиваясь к себе, я стал прохаживаться по оживленной улице и ждать Николь, с которой договорился встретиться в девять. Но та опаздывала, и мне ничего не оставалось, как коротать время с моим будущим клиентом мсье Майзелем.

Разглядывая толпу, я пробовал из ее гущи выхватить лицо какого-нибудь старика, похожего на Майзеля, хотя я того никогда и в глаза не видел. Как назло, среди прохожих чаще всего попадались либо люди среднего возраста, либо молодые, катящиеся на велосипедах.

Двойника Майзеля мне так и не удалось вычислить – кто-то сзади игриво постучал в мою спину, как в приоткрытую дверь, я обернулся и увидел перед собой Николь.

– Ужасное... как это называется по-русски... давление, – пропела она.

– Пробки?

– Наверно... Простите...

Она была в тонкой спортивной куртке и кроссовках «Адидас», как будто направлялась не в Собор Парижской Богоматери, не в Лувр, а на стадион, на котором должна была принять участие в каких-то важных забегах. Неожиданная одежда Николь не портила и не умаляла ее женственности, а только оттеняла и подчеркивала ее. В своей чесучевой рубашке с галстуком, со своими по-жениховски прилизанными волосами, пахнувшими еще не выветрившимся отечественным одеколоном, со всем своим опереточным лоском я, по-видимому, рядом с ней казался записным пошляком.

Когда Николь одолевала усталость, она останавливала такси, и мы мчались на нем, петляя по Парижу, от одной достопримечательности к другой. Их величие и красоты застило что-то такое, чему я – как ни старался – не находил названия. Не то жалость к ней, не то предосудительная зависть к моему удач-

ливому однокашнику Идельсону, вечно занятому, передававшему меня своей подружке, как посылку, которую надо доставить по затерявшемуся адресу. Возможно, мне мешало и то, что всюду рядом со мной неизменно находился пресловутый Майзельс, неотступно вышагивавший вместе с нами по сверкающим залам роскошного Лувра, поднимавшийся на Эйфелеву башню, застывавший вместе с нами от изумления и восторга под величественными и устрашающими сводами Собора Парижской Богоматери.

– Сама тут не была миллион лет, – призналась Николь, когда наш дневной налет на бессмертные острова Парижа закончился и наступил вечер. – Нейтан ждет нас на бульваре Бомарше. Вы не утомились?

– Нет.

Она явно была чем-то опечалена, но я сделал вид, будто не заметил ее печали.

– Если не возражаете, пройдемся пешком. Я истратила все деньги.

Мы двинулись пешком. Впереди, опираясь на палку с толстым набалдашником, шел Майзельс; я не сводил глаз с его сутулой, старческой спины, с его седых косм и прислушивался к стуку палки о тротуар, как к биению своего сердца.

– Нейтан вам что-нибудь рассказывал?.. – неожиданно заговорила Николь.

– О чем?

– О себе... О своей болезни... Он очень и очень болен...

Я покачал головой. Мне почему-то вдруг захотелось, чтобы она замолчала, и Николь словно уловила мое желание, осеклась, и до бульвара Бомарше мы дошли молча, повязанные одной большой печалью.

Идельсон нас уже ждал. Он обнял Николь, обменялся с ней несколькими словами по-французски, которые еще больше опечалили ее, по-мальчишески подтолкнул меня обеими руками, как изваяние, в спину и быстро направился к подъезду. Отыскав в списке жильцов фамилию «Майзельс», Натан позвонил в домофон; сверху, как жухлый лист, упало подозрительное старушечье: «Кто там?», Идельсон что-то ответил, и дверь распахнулась.

– Если повезет, – сказал он, разглядывая свою лысину в зеркало лифта, – мы с тобой, дружок, учредим всемирную фирму с филиалами во всех крупных городах, где проживают евреи, и наладим обслуживание на дому живой и полноценной информацией всех стариков-литваков, лишенных возможности передвигаться и перманентно возвращающихся в мыслях в свое прошлое, – и засмеялся.

Но смех его был каким-то натужным и невеселым.

– Что сказал доктор? – успел я спросить, пока лифт не остановился.

– Я еще не был у него, – замялся он.

Квартира мсье Жака Майзельса, оказавшегося совершенно непохожим на того, кого рисовало мое воображение, занимала два этажа. Сухонькая старушка, видно, его дочь, встретила нас и провела на верхний этаж, где на высоком стуле из мореного дуба с мягкой кожаной спинкой сидел хозяин – сам Жак Майзельс, хмурый, неприветливый мужчина с лицом, изъеденным оспой, в теплой рубашке с открытым воротом, в вельветовых брюках и летних сандалиях. Издали казалось, что он спит. Может, Майзельс и в самом деле спал, но, заслышав шаги, встрепенулся и помахал Идельсону рукой со своего трона.

Натан представил меня, бросил: «Я позвоню и заеду», извинился перед хозяевами и удалился.

Мсье Жак, из широко растопыренных ушей которого косточками перезревшей маслины торчали кругляши – мембраны слухового аппарата, с любопытством рассматривал меня как картину художника-абстракциониста, прицениваясь и прикидывая в уме, стоит ее приобрести или нет. Его сандалии все время шуршали по необозримому персидскому ковру, и в этом назойливом и размеренном шуршании было что-то завораживающее и угрожающее одновременно.

Узнав, что я свободно говорю на мамэ-лошн – на идише, мсье Жак оживился, одобрительно покачал головой, на которой несмотря на патриарший возраст сохранились все волосы, и пожаловался на то, что с тех пор, как он вернулся из Штутгота, где не только узники, но и некоторые немцы – лагерные чины говорили по-еврейски, он почти ни с кем не общался на языке

матери. Только на франсе, только на франсе. Элиза, дочь, и та забыла идиш.

Косвенная похвала улучшила мое настроение. Я ждал, когда он меня спросит о главном, о Телже, о Тельшяй, когда от общих слов перейдет к делу – не для того же он пригласил меня, чтобы на идише лясы точить!

– Скажите, молодой человек, вы давно бывали на Телжском кладбище? – не обманул мои ожидания мсье Жак.

Я смешался.

В Тельшяй я, конечно, не раз бывал, но на кладбище?.. Что мне было делать на чужом кладбище? Не мог же я ему сказать, что и на свой-то пустырь я езжу редко. Не мог же сказать, что ни в Телже, ни в моем местечке, ни в других местах от еврейских кладбищ не осталось даже груды камней.

Не этого Майзельс ждал от меня.

Не этого ждал от меня мой старый друг Натан Идельсон.

Глядя на сморщенное, почти безжизненное лицо мсье Жака, усеянное багряными оспинками, как болотной клюквой, лоявя его взыскующий утешительного ответа взгляд, я, памятуя о наставлениях Натана, великодушно обронил:

– Да, да..

– Там, сразу за воротами... если пойти налево... лежат мои родители Шейна и Юдл Майзельс... Два маленьких надгробия в виде Моисеевых скрижалей. Может, проходя, заметили?

У меня сжалось сердце. Сейчас оно, как мне казалось, напоминало раскрытую скрижаль.

– Как же, как же... очень красивый памятник, – дрогнувшим голосом промолвил я.

– А напротив – могила рабби Кремера, святого человека... – прохрипел Майзельс.

От рабби Кремера он плавно перешел к ешиве.

– Ачтосешивой?

– Слава Богу, стоит... Только никто в ней сейчас не учится, – сказал я, решив разбавить небылицу перчащей правдой.

– Рабби Кремер готовил меня к бармицве. Помню, как я читал в битком набитой синагоге молитву... в белом талесе до пят... с

молитвенником в золотом переплете в руках... Господи, когда это было!

Мсье Жак вздохнул.

Вздохнул и я.

– Память у меня хорошая... Не то, что у нынешних евреев, которые из-за франка готовы все забыть... Врачи хвалят мою память...

Он отдышался и позвал Элизу.

– Уи, – сказала она по-французски и исчезла.

– Весь Телж покупал у Юдла Майзельса, моего отца, светлый ему рай, мясо. Такого мяса ни в одной лавке не было... Кошерное, свежее, прямо со скотобойни...

Элиза принесла фрукты.

– Ешьте, ешьте... – подстегнул он меня. – Улица Вишневая, десять... Мясная Юдла Майзельса...

– Возле костела, – содрогаясь от собственной выдумки, вернулся я.

– Точно... Вишневая!

Я был потрясен совпадением, неожиданно придавшим достоверность моим случайным, пьяным словам. Чувство стыда и жалости стеснило грудь, я протянул руку к хрустальной вазе с гроздьями винограда, краснощежими яблоками, золотистыми абрикосами, не сообразуясь с правилами хорошего тона, схватил ранет и принялся уплетать его, чтобы только рта не раскрывать.

Час пролетел незаметно.

Любознательный мсье Майзельс обращался ко мне все реже и реже; воспоминания о Телже, взбодрившие его поначалу, к концу, видно, утомили его и стали, как морфий, усыплять не утративший за долгие годы ни пытливости, ни бдительности изнуренный мозг. Глаза его сузились; он все чаще откидывал свою львиную голову на дубовую спинку стула; внимание его вдруг рассеялось, расплылось; Элиза не спускала с него глаз – отложив вязанье, поглядывала на него из-под очков, как строгая сестра милосердия на тяжелобольного.

Я пялился на нее и утешал себя тем, что и мной двигали не корысть, не любопытство праздного писаки, а что-то похожее именно на это милосердие. Пусть отдаленно, но похожее.

Идельсон, видно, не торопился со звонком.

– Когда летите обратно? – как сквозь сон, осведомился мсье Жак.

– В воскресенье.

– Так скоро, – сказал Майзельс, и в голосе заплескалось сожаление. – Зачем вам спешить?.. Если вам нужны деньги, то я охотно...

– Нет, нет.

– Мсье Идельсон вам, наверно, говорил о международной сети моих магазинов... Я продаю не мясо, как мой покойный отец, а меха. Соболиные, каракулевые, норковые... «Майзельс и Шапиро»... Наверно, слышали? Не стану скрывать – я богатый человек...

И очень бедный... Ведь нет беднее человека, который не может прийти на родные могилы...

– Папа! – воскликнула Элиза с ударением на последнем слог, подавая отцу какой-то предупредительный знак.

– Если будете еще в Телже... Вы же там все равно будете?..

– Буду.

– Сходите на кладбище и за меня прочтите кадиш... Вы умеете говорить кадиш?

– Да, – сказал я и весь зарделся. – Обязательно! Обязательно!

– Я заплачу...

– Папа! – сверкнула спицами, как боевым мечом, заботливая дочь.

На столике из слоновьей кости зазвонил телефон.

Я стал прощаться.

Кадиш, кадиш, кадиш, покусывая губы и глядя на себя, невежду, до сих пор так и не удосужившегося выучить ни одной молитвы, повторяя я в пустом лифте, и эхо моего запоздалого раскаяния, казалось, вырывалось из шахты и отдавалось над могилами в далекой Литве.

4

Натан, видно, искал пяточок, на котором он мог бы припарковаться.

– В Париже легче купить машину, чем ее поставить, – сказал

он еще в то утро, когда встречал меня с плакатиком в аэропорту Орли.

Я ждал его у дома мсье Майзельса и, глядя на огромное скопище застрявших в вечерней пробке жуков и жучков, возвращался мыслями к старику, прикованному, как к своему дубовому стулу, к уюту двухэтажной квартиры, обставленной антикварной мебелью и устланной дорогими коврами, к бесценным картинам Шагала и Сутина, приобретенным еще при жизни художников за баснословные деньги, к зеркалам в позолоченных рамах, в которых он все реже и реже отражался, и пытался понять его щемящее, бесплодное стремление хотя бы на время перенестись в прошлое – от своего рутинного, привычного, как чистка зубов, богатства к счастливой и задорной бедности в далеком, захолустном литовском городке.

Извлекая из памяти подробности нашего короткого с ним разговора, я не раз ловил себя на том, что в роли удачливого продавца снов выступал вовсе не я, как было задумано Идельсоном, а он, престарелый мсье Жак Майзельс; на мою же долю выпало другое – как можно аккуратней и бережней снимать их с прогнувшихся, заплесневелых полок, стирать накопившуюся за долгие десятилетия пыль и, надраив их до блеска, стопками укладывать перед ним на прилавок.

Чем больше я размышлял о первой встрече, тем четче создавал общую для всех и печальную выгоду Натановой затеи. Меня вдруг осенило, что продажа снов – не ремесло, а образ жизни, свойственный каждому, что и я, и меховщик мсье Майзельс, и скрывающий от меня свою болезнь Идельсон, и Николь и даже Вульф Абелевич Абрамский – все мы продавцы снов, что, сами того не ощущая и не понимая, ежедневно и неустанно занимаемся одним и тем же – продаем другу другу по дешевке или втридорога сны, которые тщетно соперничают с явью.

Все, все мы на свой лад и на свой манер, подумал я, по сути дела, усыпители и снотворцы. Все без исключения.

– Ну как прошел дебют? – вывел меня из оцепенения голос Натана.

– Сносно.

– Сколько, дружок, получил? – спросил он таким тоном, как

будто речь шла не о гонораре, а об отметке на экзамене по любимой им алгебре.

– Нисколько.

– Это еще что? – возмутился Идельсон. – Ты отказался? Или мсье Жак не предложил тебе?

– Чтобы отказаться, надо сперва согласиться...

– Я так этого не оставлю, – возмутился Идельсон. – Да он тебе и ворсинки с шубы задарма не отдаст.

В его решимости восстановить справедливость не было никакого наигрыша и нажима, но она казалась мне не столь важной и отвлекала от чего-то более существенного. Ведь прошла чуть ли не половина срока моего пребывания в Париже, а я о самом Натане так ничего и не узнал, кроме того, что тот был дважды женат и что у него есть молоденькая подружка. Из смутных намеков Николь я догадывался, что Идельсон то ли сам ушел от жены, то ли жена ушла от него, что он страдает от какой-то нешуточной болезни, хотя и делает вид, будто все в полном порядке.

– Не беспокойся! Завтра же все улажу. Мсье Жак сказал мне, что желает встретиться с тобой не один раз, а несколько... Между прочим, заказы сыплются, как из рога изобилия... В пору на бульварах контору открывать. Мсье Заблудовский из Каунаса, Шрайман из Жагаре, – Натан стал загибать пальцы. – Мать моего семейного врача Клод Бронфман-Дюбуа...

Он с воодушевлением перечислял фамилии, давал каждому клиенту какую-нибудь короткую и лестную характеристику, называл их примерный год рождения, место проживания до первой и второй мировой войны в Литве, род их занятий; я слушал и диву давался, откуда эта напускная беспечность, этот коммивояжерский пыл. Мелет о чем угодно, только не о себе, не о своих делах, не о своем здоровье.

– Мать моего эскулапа просит, чтобы ты пришел к ней завтра утром. Для нее это лучшее время. По утрам мадам Клод прогуливает своего любимчика Шарля... ангорского кота, который у нее на положении мужа... А по вечерам смотрит по телевизору любовные сериалы и ходит к соседкам в карты играть... Дама, скажу тебе, интересная во всех отношениях.

– У тебя со здоровьем что-то серьезное? – перебил я его. В самом деле: не к мадам же Клод Бронфман-Дюбуа, прогуливающей по утрам своего Шарля, я в гости приехал.

– Уммм... – промычал Идельсон, не подтвердив и не опровергнув моего предположения. – В прошлом году лишний комочек вырезали... Сейчас на Земле нет человека, у которого бы чего-нибудь да не вырезали.

– Надеюсь, не злокачественное?

– Давай, брат, о чем-нибудь другом... – буркнул Натан и добавил. – От всех этих разговоров о здоровье просто тошнит. Лучше о женщинах... о гимназии... Мы живы до тех пор, пока вспоминаем... Вспоминаем – следовательно существуем... Ты не поверишь, но я уже давно, ох, как давно не торгую снами, я теперь их сам покупаю. Заламывай цену – все куплю, дурные ли, хорошие, все... Ты уже столько их мне даром продал... и каштан... и Вульфа Абелевича... и – не смейся – Сталина... Кстати, памятник вы ему поставили?

– Кому?

– Ну не Сталину же. Абрамскому.

– Поставили. Вскладчину. Сложились и поставили.

Идельсон вытаращил на меня печальные, с поволокой, глаза; его лохматые брови с изморозью седины сошлись на переносице.

Он, наконец, отыскал в сумерках свой верный «Пежо», подождал, пока я усядусь и пристегнусь, потом сам плюхнулся на кожаное сиденье, нажал на газ, и машина рванула.

Я не спрашивал Натана, куда едем, мне было все равно, да и его это, видно, не заботило. Лишь бы ехать, лишь бы быть вместе, лишь бы снова пристегнуться невидимым ремнем, пусть и ненадолго, к тому, что было сорок лет тому назад.

– До этого долго на могиле Вульфа никакакого знака не было. Даже дощечка с его фамилией куда-то запропастилась. Голый холмик, опавшая хвоя, и все. Я и в профком ходил, и к Михаилу Алексеевичу Антоненкову, требовал, доказывал, совестил. В ответ слышал бодрое «Будет сделано в будущем бюджетном году!» И тут у нашего ушлого юриста Коли Мукомолова мысль, как зуб, прорезалась: «Да пропади он пропадом вместе со своим бюджетным годом! Устроим складчину, товарищи!» И пошло-

поехало... Илька Богуславский из Израиля доллары прислал, Арик Берлин, сделавший хороший бизнес в Америке не на индийской философии, а на компьютерных системах, черный гранит на Украине купил и оплатил все расходы на его доставку в Вильнюс. Ядерщик Семен Зарецкий – из атомного центра в Дубне – деньги на благоустройство пожертвовал...

– Только я, выходит, от взноса уклонился... – нахмурился Идельсон. – Правда, ничего не зная о смерти Абрамского, сына в его честь Вульфом нарек.

– Вульф живет с тобой?

Натан помрачнел. Таким я его еще не видел.

– Вульф погиб, – понизил он голос, как бы боясь, что сын услышит. – Поехал добровольцем и погиб... в ливанской кампании... под Сайдой... На горе Герцля в Иерусалиме лежит... Я каждый год туда езжу. Качаюсь над ней, как дерево на ветру, и думаю, когда же меня срубят.

Натан сглотнул катыш боли и продолжал:

– Дочь... от первой жены... гречанки... в Салониках православных внуков-гречат нянчит... Никоса и Аристидиса... Мог ли я когда-то в Майданеке подумать, что мои внуки будут греками? Что судьба забросит меня в Париж? Что я на старости останусь таким же сиротой, каким был там, в лагере, среди вшей и волкодавов. – Он все это выпалил на одном дыхании, как стихотворение, раздробленные строфы которого наконец-то сочленились и лесенкой подступили к горлу. – А у тебя кто?

– Два сына. Старший в Канаде... Младший в Израиле...

– Так ты у нас мужской закройщик, как и твой отец, – горько усмехнулся он. – Не поверишь, у меня до сих пор сшитый им костюм дома висит... Рад бы показать, но...

– Что – «но»?

– Дом у меня вроде бы есть и вроде бы нет его... Так случилось, что придется его на две половинки перепиливать. Та, где костюм, достанется мне. Та, где его нет, – Рашели Идельсон... Врагу не пожелаю развестись с еврейкой... – Натан открыл окно, и вечер выдавил, как из тюбика с кремом, освежающую прохладу. – Ты, наверно, не поверишь, но я, как и ты, сейчас живу в гостинице, только на другом конце города.

– А Николь?

– Не слишком ли много тебе хочется знать, Мегрэ? – пристыдил он меня за бестактность. – Куда поедем – ко мне в кафе или за город?

– О! Что я слышу? У тебя есть свое кафе? Профессор Сорбонны и владелец кафе? Здорово!

– А ты, пережиток социализма, не зубоскаль, не иронизируй. Ты что, считаешь – профессор и богадельня звучит лучше? Какой прок в ленивых деньгах? Деньги должны работать... Как сказал один остряк, счастье, конечно, не в деньгах, но в этом приятно убедиться... Так куда?

– Поедем за город.

– За город так за город. Отвезу тебя в такую пригородную рощу... Пейзаж, как в Литве... Пустынно, как в Литве... И тихо, как в Литве.

То, однако, была не роща, а длинная липовая аллея, освещенная редкими фонарями, как театральными софитами. Мы молча бродили по ней – два призрака, две бесплотные тени, тишина и неверное освещение облекали нас в странное, неземное, как саван, одеяние; липы шумели едва слышно, на землю, кружась в воздухе, падал их невесомый, словно рукотворный цвет, придавая всему вокруг еще большую призрачность и условность.

Я чувствовал, что Идельсон что-то не договаривает, но слова, которыми он мог мне что-то объяснить и которые мы из сочувствия могли сказать друг другу, были суше и холодней, чем эта липовая роща, полная первородного таинства. Она вся была и сострадание, и объяснение, и напутствие, как никогда, сближала нас теплой и безмолвной жалостью. Казалось, останься в ней, и все как рукой снимет: и болезни, и утраты, и разочарования. Может, поэтому ни я, ни Натан не спешили из нее выбраться. Куда спешить? К кому?

К Вульффу на горе Герцль?

К православным внукам в Салониках?

К Николь?

В Канаду?

В родную-неродную Литву?

Где наш дом?

Только построишь его – и оглянуться не успеешь, как пыльщики и дровосеки тут как тут.

Жжжик, жжжик!..

Молчанием была выслана и дорога из липовой аллеи назад, к нашим временным приютам, и ни мне, ни Идельсону не хотелось портить его ни правдой, ни ложью. Мое любопытство дошло до какого-то предела, за который я не отваживался переступить. За ним, за этим пределом, маячили новые открытия и потрясения – химиотерапия, долгая – если не вечная – разлука, срубленные вместе с православными и еврейскими птенцами гнезда. Не от этого ли сознания мое желание помочь Натану, выполнять его прихоти, не перечить, не досаждать вопросами только крепко? Спрашивай, не спрашивай, откровенного ответа не дождешься. Тем паче, что ясность множила не надежду, а тревогу.

Я теперь уже не сомневался, что никаких лекций мой однокашник не читает, в Сорбонну давно уже не ходит (что за лекции в каникулярное время?!), что ни на какой конгресс в Стокгольм он уже не поедет и в желанный Вильнюс никогда не попадет – Идельсон просто продавал сны самому себе. Николь – сон, я – сон... И послал он мне вызов не для того, чтобы его будить.

Не для того.

Он загнал свой «Пежо», как пулю в ствол винтовки, в узкий раструб улицы Декарта.

– Не забудь. Завтра, в десять ноль-ноль... Пляс де Пантеон, дом восемь.

Когда он укатил, я зашел в соседний ресторанчик, забрался в угол, и, заказав на ломаном английском аперитив, принялся потягивать его под звуки неживой, записанной на пленку музыки.

Я наслаждался одиночеством; официант, неподвижный, как манекен, смотрел на меня с горестной участливостью: ничего, мол, не поделаешь – инвалиды коммунизма, чаевых от них нежди.

В ресторанном полумраке думалось легко и незлобиво. Откуда-то накатывала безудержная доброта, и все, что происходило, окутывала предрассветная, не предвещающая ничего дурного дымка.

– Натан, – говорит моя мама, – специально к твоему отъезду я сделала рыбу-фиш... Пальчики оближешь! Приходи в субботу!

– В субботу у меня, Евгения Семеновна, самолет.

– Приходи в пятницу, – мама присаживается к столику, впиивается взглядом в бокал. – Кто тебе там, в Париже, будет готовить рыбу-фиш? Ты хоть об этом подумал?

– Подумал.

– Если бы ты, Натан, подумал, то никогда бы от нас не уехал.

– А я не от вас уезжаю... А от этой жизни.

– От нас, от нас. От жизни, сердце мое, еврей, не приведи Господь, может уехать только, сам знаешь куда... – Мама при-двигается поближе к Натану: – А мой шлимазл пристрастился в рюмку заглядывать... Будущее свое на дне видит, что ли? Все, говорит, знаменитые русские поэты водку пили. Или на этих самых... на дуэлях... дрались... Господи, прости и помилуй, если бы кто-то мне в Еврейской больнице сказал, что мой красавец, мое солнышко будет пить, я бы его на свет не родила. Еврей-пьяница такая же редкость, как еврей-свинопас. Так как, Натанчик, придешь в субботу... на прощальный обед?

– Приду, – успокаивает ее Идельсон.

Мы сидим втроем, и вместе с нами рыба-фиш – большой литовский карп со слепыми гомеровскими глазами.

– Скажи мне, Натан, сердце мое, почему евреи никогда не могут усидеть на месте?... Почему они все время куда-то должны ехать, мчаться, бежать?... Матери рожают в Литве, а вдовы, не про тебя да будет сказано, хоронят во Франции или в Америке, или еще где-нибудь...

Манекен задвигался, подошел, спросил: «Мсье еще чего-нибудь желает?», я расплатился, кивком поблагодарил его, метнул затуманенный взгляд на пустой бокал, на тщательно обглоданную искусником-Идельсоном рыблю голову, на кучку костей на подносе и направился в гостиницу.

– Почему рожают в Литве, а хоронят во Франции? – спрашивал я себя, засыпая. – Почему?

Утром за мной вместо Идельсона заехала Николь.

– Нейтан сегодня очень и очень занят, – сообщила она, стараясь сохранить спокойствие. – Он попросил выручить его...

Ее слишком подчеркнутое спокойствие и деловитость внушали подозрение.

– Что-нибудь случилось? – спросил я.

– Нет, нет, – голос у нее затрепетал, как взвившаяся в воздух бабочка. – Проверка... Нейтан возле клиники Ротшильда и передал мне руль... Садитесь!.. Мадам Клод не любит, когда опаздывают... Особенно, если ждет мужчину...

– Вы с ней знакомы?

– О, да! Садитесь, пожалуйста... и молитесь...

– За Нейтана?

– За Нейтана тоже...

– А за кого еще?

– За меня, – улыбнулась она. – Чтобы все закончилось без полиции.

– А причем тут, позвольте вас спросить, полиция. Разве «Пежо» – краденый?

– О, нет... я – краденая... У машины... другая фамилия! Я – Николь Кутурье, а она – Идельсон.

– Ааа!

– Если полиция ничего не увидит, мы приедем к мадам Дюбуа без опоздания.

Из ее объяснений я уразумел только то, что права у нее в полном порядке – она водитель со стажем, за рулем четвертый год, как только познакомилась с Идельсоном, так сразу и научилась водить, но машина – не ее собственность, записана на имя Наташа. Поди потом докажи полиции, кем она ему приходится и что это не угон.

– Ведь я, сами понимаете, не жена... – просто сказала Николь.

– А венчание в Белом костеле?

– Думаю, никакого ветшанья не будет...

– Из-за болезни Натана?

– О, нет... я не согласна...

– Но почему? – вырвалось у меня.

Она задумалась, откинула рукой в мою сторону прядь волос, от которых пахло духами и соблазнами.

– Я люблю Нейтана, – с тем же простодушием промолвила она. – Но не хочу, чтобы он... после того, как... – Николь поперхнулась... – Ну, чтобы он расплачивался со мной тем, что останется

после дележа – правильно я сказала: дележа? – с Рашелью. Половиной дома... кафе... этим «Пежо»...

Николь замолкла. Я понимал, чего стоила ей эта негаданная исповедь, да еще перед чужим человеком, но, может, именно благодаря тому, что я был гостем, временщиком, который через три дня канет в неизвестность, замолкнет, как эхо, она и решилась на такое признание.

Всю остальную дорогу до пляс де Пантеон Николь искала опасливым взглядом слывущих своей неподкупностью парижских полицейских, но они словно в воду канули, и она, заклиная мучившую ее тревогу, принялась без передышки рассказывать – чтобы только не возвращаться к наболевшему, к мыслям о Нейтане – про мадам Клод Бронфман-Дюбуа, про то, как она в войну пряталась в кармелитском монастыре под Парижем, куда ее помог устроить деверь – аббат Пьер Дюбуа; как та носила монашеское платье и клобук; про то, как после смерти Жерара Дюбуа, умершего через пять лет после войны, хотела покончить самоубийством (и покончила бы, наверно), но, как говаривала сама мадам Клод, ее удержал малолетний сын и девочки-близнецы Иветт и Мэри, которых она в ту пору, незадолго до кончины Пьера, носила под сердцем и гласу которых она, грешница, вняла в последний момент.

Николь высадила меня на пляс де Пантеон, я быстро нашел нужный дом, поднялся на второй этаж и, едва раскрыв дверь, буквально попал в объятия хозяйки.

– Барух хаба! – восторженно приветствовала меня мадам Клод на языке наших далеких предков – царей и скотоводов древней Иудеи. – Минуточку, минуточку, – перешла она на идиш. – Сейчас мы все – вы, Шарль и я – спустимся в палисадник и там в беседке поговорим... Господи, как я рада, как я рада... – Она засемила к дивану; Шарль бросился к ней, повис на старческой груди, но тут же снова был усажен на вышитую подушку; мадам Бронфман-Дюбуа схватила поводок, накинула коту на шею, на которой красовался алюминиевый жетон с высеченной надписью «Шарль Дюбуа, 1984, пляс де Пантеон, десять, телефон 44757322, и не то мне, не то себе, не то своему ангорскому обольстителю скомандовала:

– На прогулку!

Мы спустились в палисадник. Впереди, сияя своей родовой шерстью и вращая большими меланхолическими глазами, бежал Шарль, за ним гордо следовала одетая в цветастое платье мадам Клод, а замыкал шествие я.

– Если бы не Шарль, – грустно сказала хозяйка, – я бы тут от скуки умерла. Не с кем словом перемолвиться. Дочери целый день пропадают и к тому же на идише не понимают ни слова...

– А он... он понимает? – осторожно вставил я.

– Неизмеримо больше, чем они... – с достоинством ответила мадам Бронфман-Дюбуа... – Иветт и Мэри знают только одну фразу: «Зай гезунт, мамэ» – «Будь здорова, мама».

– Это немало, – пробормотал я.

– Аэох унвей, – пожаловалась старуха. – А вы... вы настоящий литвак?.. Или самозванец?..

– Настоящий.

– Простите мне мое любопытство, – продолжала она. – Приводили тут ко мне одного господина... Выдавал себя за литвака... А оказалось, что он из Ченстохова, из Польши... Вместо «поним» говорил «пуним», вместо «штуб» – «штиб», вместо «цорес» – «цурес». А вы настоящий, не фальшивый?

– Самый что ни на есть настоящий...

– Как я рада, как я рада, – пропела она и повернула свою маленькую седую голову к коту, что-то вынюхивавшему в траве своим неизбалованным уличными запахами носом. – Слышишь, Шарль, какой у него идиш? Это, моя прелесть, не синтетика, это настоящий продукт.

Кот понятиливо мяукнул.

– Боже мой, какое наслаждение. Спасибо нашему другу – профессору Идельсону... – как заведенная, восторгалась она. – Где вы, мсье, родились?

– В Вилкомире.

– Ах, в Вилкомире. Там жил мой дядя... Хаим Юнгер... Может, слышали?

– Как же, как же, – машинально ответил я, вспомнив поучения Идельсона, и, рискуя провалиться, добавил: – Лесоторговец...

– Чем он только ни торговал. Сырыми кожами, молодыми

бычками и, может, лесом... Память, как буханка хлеба: чем больше отрезаешь, тем меньше остается на столе.

– Это вы замечательно сказали... я обязательно запишу ваше выражение в блокнот и увезу в Литву...

– Ради бога, буду только польщена... Господи, господи, как он вкусно, Шарль, говорит на мамэ-лошн!.. Он говорит так, как мой дед Шмуэль, как моя бабушка Енте... Как мои сестры Шейндл и Двойре... – Она натянула поводок, приблизила к себе кота, погладила его по шерстке. – Вы и сейчас там живете?..

– Нет, я живу в Вильнюсе.

– В Вильне, – не позволила она облитовить название города.

– Да. В Вильне.

В отличие от чопорного, чванливого Майзельса было в ней что-то простодушное и неотразимо притягательное – ее местечковая восторженность, далекая от всяких корыстных расчетов любознательность, поистине монашеская скромность и чистота.

Малюсенькая, с всклокоченными, как у домашней птицы, волосами, в своем недорогом, в кои веки купленном на Рош Хашана или Симхат Тора платье, она была похожа на старух моего детства. Иногда в ней – и это явилось для меня неожиданной, ниспосланной свыше радостью – проглядывали черты моей мамы.

– А я в Вильне родилась... На Мясницкой. Вы бываете на Мясницкой? – мадам Клод Бронфман-Дюбуа глянула на меня из-под седых бровей.

– Бываю... Очень часто бываю.

– А на Рудницкой?

– И на Рудницкой.

– Иветт и Мэри смеются надо мной, когда я говорю, что вывеска над пекарней Довида Иоселевича, напротив родительского дома, мне до сих пор ближе и дороже, чем Триумфальная Арка или Елисейские поля... Они не верят... считают меня, наверно, вздорной старухой... Разве у вздорной старухи не может быть чего-то дорогого... непохожего ни на что?.. И незаменимого... – сказала она и резко дернула поводок. – Шарль, ну что тебе неймется, что ты сегодня мучаешь меня, веди себя прилично, а то я еще подумаю, что ты ревнуешь... Слушай, слушай и учись! Такого идиша ты, может, уже никогда не услышишь. Никогда.

Но ревнивый ангорский кот предпочитал, видно, учебе на свежем воздухе отдых на диване.

– В шестнадцать лет я ушла из дому и уехала в Варшаву... поступила в театр «Централ»... хотела стать еврейской актрисой... Но потом появился донжуан Жерар, и я стала мадам Дюбуа... Вы, мсье, меня слушаете или вам, как Шарлю, мой поводок уже тоже шею натирает?..

– Что вы, что вы... – быстро возразил я. – Мне очень интересно.

– Это правда?

– Правда.

Мне действительно было интересно. Я смотрел на нее и пытался выстроить в одну цепочку Мясницкую улицу, варшавский театр «Централ», донжуана Жерара Дюбуа, монастырь кармелитов где-то под Парижем, но как я ее ни выстраивал, она распадалась на разрозненные звенья.

– Я всегда оставалась еврейкой... – призналась она. – Матушку однажды услышала, как я пою после утреннего богослужения в своей келье, открыла дверь и сурово спросила: «Что это за песня?». Хорошо еще, я не растерялась и выпалила: «Немецкая!» – «Чтоб я от тебя этих бошских песен не слышала!»... Но это была не бошская песня...

– Шарль, ну иди, мой бедненький, ко мне на колени! – сжалась мадам Клод Бронфман-Дюбуа и, когда кот взобрался на привычное местечко, тихо и хрипловато запела:

– Ойфн припечек брент а фэйерл... («В печке маленькой огонек горит»).

И через миг не то попросила, не то потребовала:

– Подпевайте!

Я стал подпевать.

Из палисадника на пляс де Пантеон полилась песня о рабби, который в незапамятные времена, во времена Мясницкой и Рудницкой улицы, дешевых булочек Довида Иоселевича, во времена вонючих сырмятных кожучил где-нибудь в хедере малышей еврейской азбуке.

Кот таранился на поющую хозяйку, на меня и жалобно мяукал. Крупные, как буквы из первого букваря мадам Клод Бронфман-

Дюбуа, слезы медленно текли по ее увядшему, но просветленному лицу, а я покусывал немеющие губы.

– Вы никуда не торопитесь? – спросила она меня.

– Нет.

– Чудно! – воскликнула она, не вытирая слез. Они посверкивали на ее дряблых щеках – такие же, какими они, наверно, были много-много лет тому назад там, в далекой и уже недосыгаемой для нее Вильне.

Я и сам не узнавал себя: из невольного пленника, которого привели в чужой стан на аркане, натирающем не шею, а душу, я вдруг превратился в добровольца, избравшего этот плен как желанную и недолговременную свободу, эту душу возвышающую.

– Я приготовлю еврейский обед... флойменцимес, суп с креп-лех – фрикадельками, рубленую селедку, телятину... Как получится, так получится. Ведь я столько лет не готовила эти блюда... Иветт и Мэри – христианки... У них другое меню... У них все другое...

Она опустила на землю прикорнувшего кота, встала со скамейки и направилась к дому.

– Пока я буду готовить, на кухне мы еще поговорим. Евреям нечего друг другу сказать нового, но у них всегда есть о чем вспомнить...

Я сидел на кухне, стены которой были выложены кафельными плитками, и следил за приготовлениями хозяйки, а она, в белом фартуке, что-то нарезала, молола, подсыпала, неумело рубила, зачерпывала ложкой и, обжигаясь, пробовала.

– Уезжаете скоро? – приподнимая крышку кастрюли с булькающим варевом, промолвила мадам Клод Бронфман-Дюбуа.

– Через три дня.

– Скоро... Очень скоро...

– А может, еще останетесь?

– Семья ждет и дела...

– Дела, дела, – пригорюнилась она. – У всех дела... Иветт и Мэри ни о чем другом и слышать не хотят. Им надоело прошлое.

Мадам Клод Бронфман-Дюбуа задумалась и тихо сказала:

– Им надоело прошлое... А мне надоело их настоящее.

Обед затянулся до вечера.

Заметив мое нетерпение, хозяйка поспешила успокоить меня:

– У нас с вами еще полчаса... За вами приедут без четверти восемь... Скажите, сколько я вам должна? Мсье Идельсон ничего не говорил... Не стесняйтесь... Мы люди не бедные... даже богатые... Но то, что мне нужно, ни в одной лавке не купишь. Сколько?

– Это я ваш должник...

– Вы?!

– За песню, которую вы пели в монастыре... и которую пела моя мама... А у мамы денег не берут.

– Еще как берут, – воспротивилась мадам Клод Бронфман-Дюбуа. – Попробуйте сказать это моим дочерям. Они вас на смех поднимут...

– Может, вы и правы, может, и берут. Но только не за то, чего нельзя купить в лавке...

– Гот зол айх хитн... Да храни вас Господь.

Она подошла и поцеловала меня.

Шарль смотрел на нее с печальным удивлением, и у него не то завистливо, не то благодарно слезились глаза.

5

Мне оставалось пробыть в Париже неполных три дня, и пора было подводить предварительные итоги, скорее неутешительные, чем отрадные.

Меня огорчало не столько то, что я не привезу жене какую-нибудь безделушку на память о Париже, сколько то, что мне так и не удалось вволю пообщаться с моим другом и однокашником Идельсоном. Если мы и встречались с ним, то только накоротке, если о чем-то говорили, то только на ходу, по дороге из аэропорта или к мсье Майзельсу, или в пригородную липовую рощу. А ведь Натан обещал, что мы будем сидеть с вечера до утра, от зари до заката, а потом снова до утра и снова до заката. Но Натан выполнял свое обещание урывками, наскоками. Все выдавалось отмеренными, как в аптеке, дозами. Для обиды вроде бы никакого серьезного основания у меня и не было – он и приглашение прислал, и все расходы по моему содержанию на себя взял, и

поил, и кормил, и с интересными людьми свел, и о зароботке моем позаботился, и ангела-хранителя с обворожительной челкой и иссиня-голубыми, как горное озеро, глазами приставил – чего еще хотеть? Кроме того, – не это ли главное? – ради моего спокойствия виду не подал, что тяжело болен. И все же меня не оставляло ощущение, что между нами что-то преждевременно и обидно оборвалось, осталось невысказанным. А ведь меня так и подмывало сказать ему какие-то единственные, сокровенные слова.

Я и сам не мог взять в толк, что это за слова и существуют ли они вообще в природе. Наверно, существуют. Недаром же люди находят их в своей душе в те минуты, когда нужно как-то припрошить душистой корицей надежды свое отчаянье, когда можно сойти с ума от одиночества и пустить себе пулю в лоб. Мне казалось, что сокровенным уже было наше молчание в липовой аллее, не переводимое на доступный будничному слуху язык. Может, Идельсон нуждался – а так, наверно, на самом деле и было – вовсе не в сокровенности, а в обыкновенных, обнадеживающих результатах анализов его крови и мочи?

Я корил себя за то, что смалодушничал, без всякого сопротивления пошел на поводу у Натана, когда согласился, как скоморох, ходить по домам вместо того, чтобы все время быть рядом с ним, стоять в больничном коридоре и молить Господа, чтобы над ним еще долго-долго реяла, как флаг, непокорная челка Николь, чтобы он без опаски мог ездить на конгрессы в Стокгольм, Вильнюс, Пекин и Куала-Лумпур, на кудыкину гору, к черту на кулички. Но он вряд ли бы разрешил мне быть рядом и ждать, вряд ли бы обрадовался, скажи кто-нибудь ему, что я, неверующий, молю за него, неверующего, Господа Бога. Мужчина, мол, не ходатай, не богомол, а добытчик, он должен не вымаливать, а работать, не торчать в больничных коридорах, а пить вино, любить женщин и до смертного часа ждать не результатов анализов, а любви, как верующий ждет Мессию.

– Ты не боишься уезжать?

Мы оба стоим на заснеженном, в жирных пятнах мазута, пустом перроне в Вильнюсе и кутаемся в воротники пальто от шмыгающего повсюду безбилетного ветра.

– После Майданека мне уже и в аду не страшно, – говорит Натан и оглядывается.

Неподалеку маневрирует озябший паровоз, греющий себя зазорными частушечными гудками.

– Холодно, – жалуюсь я. – Может, зайдём в зал, клюкнем по сто боевых и по кружке пива...

– А что? Идея совсем неплохая, – неожиданно соглашается Идельсон – неисправимый трезвенник.

У облезлой стойки бара толпятся заспанные пьяницы.

Дым, икота, мат.

Сквозь шум доносится голос диктора. Не скрывая своей пугливой радости, он торжественно, абзац за абзацем читает политовски рассекреченный доклад Хрущева на двадцатом съезде.

– А мы, олухи, подумать только, по усатому плакали, когда его в Москве хоронили. Стояли на Кафедральной площади... у подножья горы Гедиминаса и ревели.

– Я не стоял и не ревел... В те дни меня вообще не было в Вильнюсе, – обрывает меня Идельсон. – Я не плакал даже тогда, когда мама в гетто от голода умирала... Ауждля них, псов поганых, у меня ни одной слезы нет...

– Но они же нас спасли... Что бы с нами было?

Натан хмурится, смотрит на меня, на пьянчуг, которых, судя по всему, куда больше интересуется похмель, чем проклятый культ личности.

– А ты, брат, не о том думай, что бы с нами было, а о том, что с нами, спасенными, будет, если мы тут застрянем...

– Большинство же, Натан, сидит на месте... Ты всегда был первым... И в классе, и...

– Первый никогда не остается последним. Твое здоровье! – перебивает меня Натан и чокается. – По закону равновесия у меня все будет хорошо, – Идельсон оборачивается, смотрит через окно бара на заснеженный перрон. – Плохо мне уже было... И слишком долго... – Он выпивает, крикает. – Пока, кроме тебя, никто из ребят на вокзал не пришел. Да-а-а, не в Сочи еду и не в Ессентуки...

– Витька Тягунов, тот точно не придет. У него папаша в эмгэбе служит... Зарецкий тоже вряд ли появится: мачеха – парторгесса на «Красной звезде»... У Арика Берлина – аппендицит.

– Граждане пассажиры! Скорый поезд Москва – Варшава прибывает на третью платформу третьего пути...

Скрип тормозов, лягг буферов, топот.

– Что-то, наверно, с ним случилось, что-то случилось, – безостановочно повторяла Николь.

И я очнулся: поезд Москва – Варшава отошел от перрона, диктор дочитал доклад, в зале ожидания, усеянном окурками и заплеванном семечками, тихо и застенчиво зазвучал вальс из «Лебединого озера», только крупные хлопья снега кружили в памяти и студили виски. Мы сидели с Николь в холле четырехзвездочной гостиницы «Париж энд Лондон», где Идельсон снимал одиночный номер, притихшие и подавленные, и с нетерпением ждали пропавшего Натана.

Приближалась полночь, но его все не было.

Николь то и дело вскакивала с места, бросалась к автомату, звонила в больницу Ротшильда, в полицию, лихорадочно листала телефонную книгу, в которой значились сотни Дюбуа и десятки Майзельсов, возвращалась в холл, плюхалась в кресло, но через минуту снова вспархивала, как вспугнутая ночная птица, и снова терзала диск.

– Может, его в больницу положили?

– Нет, нет, – встряхивала она челкой, не спуская глаз с входной двери, каждый скрип которой дарил ей надежду, а потом приводил в отчаяние.

Волнение Николь передалось и мне.

Мне до боли захотелось остановить время и вернуть Натана назад, туда, откуда он так рвался уехать, под сень вельможного каштана, под строгую отеческую длань Вульфа Абелевича, под теплое, субботнее крыло моей мамы. Кто знает, может, там он был бы совершенно здоров, жил бы, обласканный своими кошерными внуками, был бы классным руководителем в какой-нибудь школе или даже профессором в университете. Ведь Вильнюс, пусть и не Париж, но и не концлагерь. Если бы я мог, я остановил бы время, и все вернулось бы на круги своя – и ветер, и птицы, и учителя, и каштан за окном.

Я и мысли не допускал, что с ним что-то случилось, хотя, кто может поручиться за человека, которому заранее

известен не подлежащий обжалованию приговор.

– Господи, господа, – причитала Николь. – С ним никогда такого не бывало.

– Все будет хорошо, все будет хорошо, – уговаривал я ее и себя.

– Да, да, – бессознательно, как в бреду, шептала она. – Нейтан однажды... когда у него обнаружили опухоль... сказал мне: «Завидую тем, кто умер... Они уже свое дело сделали, а нам еще предстоит...» Может, и Нейтан уже сделал?

– Глупости... – сказал я неуверенно. Бывает же такое: приглашает человек друга, тот садится в самолет, летит за тридевять земель и попадает на его поминки.

– Нейтан! – закричала вдруг Николь. – Нейтан!

Она кинулась к нему сломя голову, повисла на шее и принялась сучить ногами, как будто танцевала в воздухе. Я замороженно смотрел на этот ее безумный, ненасытный танец, и сердце у меня сжималось от жалости.

Николь отчитывала его по-французски, осыпая упреками и поцелуями.

– Нехороший, нехороший, – перевел я с ее накрашенных губ, как с подстрочника. – Где ты был?..

– А я вас искал, – опустив ее на пол, объяснил Натан. – Правда, мадам Дюбуа меня немножко задержала. Ты становишься суперстаром – старуха от тебя в восторге, – обратился он ко мне. – Предлагает контракт на месяц с трехразовым питанием и премиальными... а в будущем вообще вытащить тебя из Литвы сюда, к нам... Встретился я и с мсье Жаком – тоже премного доволен... хотел бы с тобой провести еще несколько путешествий в прошлое...

Идельсон сунул руку в задний карман и возвестил:

– Твой гонорар... Купишь жене подарок... У того же Майзельса... Только, ради Бога, не строй из себя верного ленинца... Какого она у тебя роста?

– Как Николь.

– Мой совет – шуба... От «Майзельса и Шапиро». Мсье Жак с удовольствием сделает скидку.

– Ты лучше расскажи, что в больнице...

Хитрость моя не удалась.

– Ни в какой больнице я, брат, не был... По-твоему, у меня, кроме больницы, нет других дел? Развод, аспиранты, кафе... Возьми денежки. Ты их честно заработал.

– Натан, – простонал я.

– Брось свои засранные советские привычки, – выругался он. – Дают – бери, бьют – беги.

Я понял – мне не отвертеться.

– Николь поможет выбрать... Тебе повезло – она когда-то мечтала стать манекенщицей и даже пыталась счастье на этом поприще.

Идельсон пребывал в прекрасном расположении духа, но его бодрость не столько радовала, сколько будила смутную тревогу.

– Следующий твой клиент – мсье Морис Заблудовский... – Он подмигнул Николь: – Между прочим, меня когда-то сватали к его младшей дочери Жоржетте... Я в молодости подавал большие сексуальные надежды...

И захохотал.

– А сейчас, господа, – в Мулен Руж! Развлекаться, развлекаться и еще раз развлекаться!

– Нейтан, – воспротивилась Николь.

– Не лучше ли тебе отдохнуть? – вставил я.

Но наш бунт был подавлен без промедления и пощады.

Ссориться с Натаном, портить ему настроение, доказывать свое нежелание развлекаться или развлекать рассказами стариков – при всем моем сочувствии к ним, пытающимся чуть ли не на инвалидных колясках угнаться за утраченным временем, – не имело смысла.

– Покажем, Николь, ему, ханже и святоше, на что способны парижанки и парижане!

Меня поражало и восхищало умение Идельсона не падать духом, подтрунивать над собой и другими, переплавлять все в радость, скрывать то, что другому не под силу утаить.

Он взял нас, как первоклашек, за руки, и, роняя свои «Осенние листья», повел к выходу.

– Морис Заблудовский, – представился мне полный, еще крепкий пожилой мужчина в тяжелых роговых очках, с крашеными

волосами и дорогим перстнем с сапфиром на руке. Перстень был так хорош и так лучист, что я невольно загляделся, забыв поздороваться.

– Морис Заблудовский, – повторил он с нажимом.

– Очень приятно, очень приятно, – затараторил я.

Из головы у меня еще не выветрился блестящий, непревзойденный Мулен Руж, перед глазами еще мелькали маленькие и легкие, как стрекозы, танцовщицы; по всему телу разливалась неодолимая, но блаженная усталость.

– Бывший ювелир... Ныне эмерит...

– Да, – сказал я, пытаюсь вспомнить, что значит это слово.

– Пенсионер... – помог он мне и добавил: – Попрошу вас, молодой человек, сесть поближе... Вот сюда...

Я опустился в большое, плюшевое кресло, в котором неотвратимо клонило ко сну, и приготовился к тем же самым, не отличающимся новизной, затертым вопросам, словно размноженным под копирку и розданным всем литвакам Франции.

– Вам удобно? – осведомился мсье Морис.

– Прекрасно, прекрасно, – удвоил я свое удовлетворение.

– Сейчас я вас хорошо вижу...

Мсье Заблудовский, испытывая мое терпение, вдруг пустился в пространные рассуждения о том, как важно для ювелира обладать безупречным зрением. Он об этом говорил так, словно я пришел к нему наниматься в ученики.

– Было время, я любой камешек оценивал с первого взгляда... без всякой лупы. Гляну, и мне все ясно.

– Годы, – философски заметил я, ерзая в кресле и борясь с предательским сном.

Господи, только бы не уснуть, только бы не уснуть. Я не боялся опозориться сам, но если я опозорю Идельсона!.. Господи, не дай мне смежить веки, вставь в мои зрачки иголки, чтобы кололи до тех пор, пока я отсюда не уйду.

– Вы еще, дорогой, молоды и не знаете, что такое годы. Годы – это львы... голодные львы, а человек – их самая лакомая добыча... Набрасываются и в один присест все до последней жилки пожирают... Посмотрите на мои волосы!..

Ну и сосватал меня мой друг Натан!

– Вполне нормальные волосы... густые... русые...

– Русые, – усмехнулся мсье Заблудовский. – я их уже двадцать пять лет крашу...

– А выглядят как натуральные, – бойко ввернул я, надеясь, что с львами и волосами будет покончено.

– Их, молодой человек, можно перекрасить... А годы никакая краска не берет. Никакая, – вздохнул он, и его вздох, как я и надеялся, стал предвестьем того, ради чего он, собственно, меня и просил прийти.

– Я из Ковно... «Менделис Заблудовскис». Не слышали?

Я не слышал, но и тут, как в случае с меховщиком Майзельсом, решил сыграть ва-банк. Провал меня не пугал. Послезавтра я все равно тю-тю – и поминай, как звали.

– Обручальные кольца, золотые цепочки, серебряные ожерелья, бриллианты... – наглед я.

– Бриллианты мой отец не держал, – сказал мсье Морис и поправил очки, чтобы лучше разглядеть меня. – В тогдaшнем Ковне они не шли – не было на них покупателей... Литовцы только-только свою независимость провозгласили... А евреи больше любили свои деньги в чулок класть, чем в виде бриллиантов на руках носить...

Я чувствовал себя победителем на белом коне, въезжающим через Триумфальную арку в столицу Франции (мсье Морис как раз поблизости и проживал). Дар ясновидения, который я по-шарлатански вдруг открыл в себе, сразу избавил меня от сонливости.

Я подтянулся, приободрился.

Как ни странно, приободрился и мсье Заблудовский.

– Может, чаю? – спросил он.

Нет, нет, никакого чаю! Чай уведет нас от Ковно Бог весть куда. Потом целый час возвращайся обратно.

– Спасибо.

– Я поставлю, – пробормотал мсье Морис. – А то еще подумае-те, что я негостеприимный хозяин...

– Что вы, что вы, – заклинал я его. – Вы замечательный хозяин. Замечательный...

– Вам какой – «Липтон» или «Высоцки»?

– «Высоцки», – признал я свое поражение.

К моему удивлению Морис Заблудовский справился быстро.

Мы пили чай с лимоном и какими-то шоколадными конфетами, копошившимися в разукрашенной коробке, как улитки.

– К сожалению, мне сладкого нельзя, – прихлебывая чай из тонкого стакана с серебряным подстаканником, сообщил мсье Морис. – Врачи запретили... Диабет... Сладкий период в моей жизни кончился.

Я уже досадовал на то, что из списка моих клиентов Идельсон выбрал именно его, этого нудника, а не другого литвака, и впервые усомнился в том, что их такая уж уйма, как говорил Натан.

От чая, от всей, почти музейной, обстановки, от роговых очков мсье Мориса, как и от его гостеприимства веяло состоятельной, ювелирно ограненной скукой, от которой снова стали слипаться глаза.

– Полвека тому мой отец... Мендель Заблудовский... перед самой Катастрофой выправил японскую визу, и мы через Токио попали в Париж... – как бы угадав мою досаду, наконец, приступил к делу мсье Морис. – Вы меня слушаете?

– С огромным вниманием, – искренне произнес я.

– Никто из нас... Заблудовских, слава Богу, не пострадал... Все спаслись... Все, кроме жильцов нашего дома.

Я воспрянул духом, отодвинул стакан с недопитым чаем и уставился на взволнованного мсье Мориса.

– Дому визу не выправишь, – мсье Заблудовский выловил из стакана лимонный ломтик, разгрыз его вставными зубами, поморщился и продолжал:

– Он стоял напротив сквера Военного музея... Представляете, примерно, где?..

– Конечно... я частенько езжу в Каунас... В сквере устраиваются литературные вечера...

Литературные вечера мсье Мориса не интересовали.

– Я хотел у вас спросить, как он выглядит?

– Музей?

– Дом...

– Стоит, как стоял.

– Дом, молодой человек, не птица. Дом не может улететь... Хотите, я вам долью горяченького?

– Мерси...

– Я бы, наверно, его не узнал. Дом без хозяина погибает... Вы не помните, флигель... – там жила моя няня – не снесли?

– Нет, не снесли.

– А медные ручки на парадных дверях?

– Никуда не делись... Потускнели только...

– Все тускнеют. И всё тускнеет. Даже золото... – голос у мсье Мориса сел, и он несколько раз откашлялся, чтобы закончить предложение.

– А чугунная ограда?

– Что ограда?

– Ограды, небось, уже нет?

Для большей правдивости я решил пожертвовать оградой и ответил на его вопрос утвердительно.

– Ну да, – прошамкал мсье Заблудовский, – у вас там только тюрьмы огорожены... – Он помолчал и вдруг выдохнул: – Я уже, видно, не доживу до того дня, когда мне его вернут... Ведь, кроме меня, никаких прямых наследников нет... Если бы вернули, я бы снова его огородил, и ручки бы заменил, и фасад, как свои волосы, покрасил бы... Не суждено, однако...

– Все еще может быть, – сказал я, убежденный не в том, что ему вернут отцовскую собственность, а в том, что легче умирать с надеждой, чем с озлоблением.

– Я понимаю. Лучше было бы, если бы вернули живыми жильцов... всех, кто был убит и расстрелян... Я бы все простил и больше ни у кого ничего бы не требовал. Но их не вернешь... – прохрипел он и вдруг спохватился: – Мсье Идельсон, дай Бог ему здоровья, договорился со мной, что вы пробудете у меня только час... – мсье Морис глянул на свои часы с золотым браслетом. – А прошло уже целых полтора... Но я в долгу не останусь... Я всегда возвращаю то, что другим принадлежит. Всегда.

– Да вы, мсье Заблудовский, не волнуйтесь... – сказал я, почти раскаиваясь за свое предубеждение против него, против его барской медлительности, против его лучезарного сапфира на властной руке.

– Если у вас есть еще минуточка, я вам что-то покажу.

– А я никуда не спешу... – заверил я его.

– Тот, кто в Париже не спешит, тот ничего в нем не добьется... – возразил мсье Морис и удалился.

Он долго не возвращался, и сколько я ни гадал, зачем он ушел, ничего путного на ум не приходило. Я мысленно сравнивал мсье Заблудовского с моими предыдущими собеседниками и все больше укреплялся во мнении, как опрометчивы и несправедливы заведомые оценки. «Что мы знаем друг о друге, что мы знаем, – повторял я про себя. Какова мера нашей общей печали? Почему только она, эта печаль, эти утраты роднят нас всех, а скоротечная радость разъединяет? Кто и когда нам вернет дом – не тот, что стоит в Каунасе, напротив Военного музея, и не тот, что расколот междоусобными распрями, как у Натана с Рашелью, а тот, что заповедал Господь Бог – дом, в котором обитала наша душа и который мы с таким ожесточенным и самоистребительным рвением ради корысти разрушили и опустошили?»

Мсье Морис появился не один, а вместе со стройной женщиной в накидке и едва различимым ребенком в детской коляске.

– Гляньте! Это я, – и старик ткнул сапфировым пальцем в коляску на фотографии. – А это мама, светлый ей рай... По ночам, когда не сплю, я слышу, как рессоры скрипят, как она меня баюкает... А это наш дом...

Он проводил меня донизу, протянул на прощанье руку и тихо сказал:

– Если Бог даст и вы еще приедете в Париж, привезите мне из Ковно хоть кирпичик от стены... на могилу...

Не было для меня занятия более хлопотного, чем поиски подарков для жены. Зная о моих мучениях, она перед каждой моей поездкой предупреждала: «Не ищи, не трать зря ни времени, ни денег, все равно ничего стоящего не привезешь» и насмешливо добавляла: «Ты сам хороший подарочек!..».

Как я ни уговаривал Идельсона, что сам что-нибудь выберу, что одежду нельзя покупать на глазок, тот не сдавался: только шубу! Тем более, что растроганный Майзельс согласился скостить цену более чем наполовину.

– А если не подойдет?

– Не подойдет – продашь, – не растерялся Натан.

– Ты, я вижу, собираешься из меня заправского торговца сделать – то снами, то шубами...

– Пока Николь не раздумала, отправляйтесь за обновкой.

Все дальнейшие препирательства были бесполезны, ибо тут наши взгляды на жизнь, мягко говоря, различились. А о том, что жена, узнав, на какие деньги куплен подарок, шубы никогда не наденет, я и заикнуться не мог.

Я шагал за Николь в магазин великодушного меховщика Жака Майзельса и злился на себя, что в который раз уступил Натану, позволил ему навязывать свои условия, вместо того чтобы проявить характер и сказать решительное: нет! С одной стороны, меня обуревало желание угодить другу, сделать приятное жене; с другой стороны, мне хотелось, по хлесткому и образному выражению Идельсона, остаться верным ленинцем.

До магазина было квартала два и, пока мы шли, я думал и о другом подарке – нашему учителю Вульффу Абелевичу Абрамскому, которому и я, и Натан очень задолжали. Приду, думал я, на кладбище, склоню голову над могилой, а Троцкий своим скрипучим, вечно простуженным голосом ехидно спросит:

– Ну как там в Париже поживает мой любимчик Натан Идельсон?

И я ему, мертвому, что-нибудь совру.

Ведь правда не только живым, но и мертвым ни к чему. Мертвые тоже нуждаются в небылицах. Кроме вечного сна, им еще нужны добрые, воскрешающие их из небытия, сны. Разве скажешь Вульффу Абрамовичу, что Натан, любимый ученик и великая надежда, смертельно болен, что дни его, может, сочтены? Разве скажешь ему, что сын Натана Вульф Идельсон погиб в ливанской кампании? Разве скажешь, что внуки Никос и Аристидис стали христианами и отреклись от него?

Какой же теплый, как шуба от «Майзельса и Шапиро», сон привезти Вульффу Абелевичу?

По парижскому тротуару цокала туфельками длинноногая Николь. Я смотрел на ее строптивые волосы, которые ерошил ветер, и вдруг – взбредет же такое еврею ясным летним днем в голову – в пронизанном солнцем воздухе выудил ответ: я привезу ему сон о никем не решенном доселе в мире уравнении.

– Вульф Абелевич, Натан нашел решение... Нет, нет, это не то решение, которое гласит, что «жизнь равняется смерти», а то, над которым вы после уроков, вечерами, вместе бились в красном уголке. Ученые назвали это открытие в его и вашу честь «Уравнением Идельсона-Абрамского». Оно уже вошло во все учебники... Теперь вы бессмертны, Вульф Абелевич! Бес-смерт-ны...

– Вы что-то мне сказали? – внезапно обернулась Николь.

– Нет, нет.

Оклик Николь вернул меня к действительности.

В витрине магазина, распахнув полы шубы и соблазнительно обнажив пластиковое колено, красовалась дама с неживой, безотказной улыбкой.

Юркий господин, которого заранее уведомили о нашем приходе, провел нас в зеркальный, увешанный шубами отсек, и Николь не без удовольствия принялась их примерять.

– Не слишком длинная?

Вопросы сыпались на меня один за другим.

– Ваша жена какой цвет любит?

– Коричневый, бежевый...

– Сейчас примерим. Пожалуйста, мсье, бежевый!

Я вернулся в гостиницу с огромным целлофановым мешком и стал ломать голову, что с ним делать.

Когда я уже совсем было отчаялся, Бог смилостивился надо мной и подсказал выход.

Я сунул в карман остаток своего заработка, достал блокнот, вырвал чистый лист и старательно, как школьник, высовывающий от рвения кончик языка, вывел: «Собираемся уехать к младшему... а в Израиле и без шубы жарко... Обнимаю... Твой верный ленинец».

И сунул записку туда же – в карман.

Внизу я поймал свободное такси и до гостиницы «Париж энд Лондон» добрался без приключений.

Я вошел в лобби, подошел к лощеному, сияющему, как и скользкий, надраенный пол, администратору и тоном поднаторевшего в обманах шулера на убогом английском произнес:

– Для мсье Идельсона. Просьба вручить пакет завтра... попозднее...

Тот взял мешок с фирменным знаком «Майзельс и Шапиро» и буркнул:

– Йес, сэр.

Я улетал на рассвете.

– Ты ничего в номере не забыл? Все сложил? – спросил у меня Идельсон.

– Все.

– Есть еще возможность проверить, – Натан открыл багажник.

– Все, – подтвердил я.

– А шуба где?

– В чемодане. Едва уместилась, – не дрогнув, соврал я Натану, который все время уверял меня, что вранье полезнее правды.

Николь, как и неделю назад, дремала на заднем сиденье.

За окнами «Пежо» стелился утренний туман. Видимость была скверная, Идельсон нервничал, и я старался не отвлекать его внимание разговорами.

– Будьте оба счастливы... – сказал я, как только отметил билет и сдал багаж.

– И ты будь счастлив... Только не обессудь: я не хотел бы затягивать прощание... Один и тот же сон смотреть вредно – можно и не проснуться. Поклонись от меня Вульффу... твоей маме... воробьям...

Он обнял меня и прижался щекой к моей щеке.

Стряхнула дремоту и Николь.

– До свидания, – пропела она и почти обреченно прошептала: – Я буду молиться, чтобы вы... Натан и вы... еще долго-долго сидели за одной партией, чтобы Бог вас не разлучил...

И заплакала.

– Николь! – прикрикнул на нее Идельсон. – Это еще что такое? Она, видно, знала о больном больше, чем я, и больше, чем сам Натан.

Самолет набрал высоту и взял курс на Москву.

Я сидел у иллюминатора и смотрел на проплывающие облака. Вдруг из них, как из суглинков Литвы, вырос высаженный ясно-вельможным паном Войцехом старый каштан. Он распускал над облаками свою густую, непроницаемую крону; на его зеленых, гнущихся на ветру ветках сидели взъерошенные люмпены-

воробьи, отливающие глазурью грачи и белобокие сороки; из голубой, необозримой сини слетались мои учителя и мои одноклассники, моя мама и мой отец; слетались на неуловимый, как сон, парящий над облаками каштан, который – сколько его ни руби, сколько ни пили – никогда не срубить и не спилить, ибо то, что всходит из любви и произрастает из печали, ни топором, ни пиле неподвластно.

Июнь 1996-сентябрь 1997

Олег Юрьев

ФРАНКФУРТСКИЙ БЫК

шестиугольная книга

Афины – Франкфурт – Москва, 1996

Изд-во бр. Захариади, 150 стр.

Новая книга петербургского поэта, драматурга и прозаика выходит почти одновременно по-русски и по-немецки. Его пьесы ставились и публиковались в Германии, Чехии и Польше.

«Чего больше в связи с окружающим миром: порядка и смысла или ужаса и абсурда – искусство призвано и обречено вечно ставить этот вопрос и давать на него множество несовместимых ответов. Это и происходит на страницах «Франкфуртского быка» – чья красота и новизна могли бы обогатить русскую прозу.»
(Панорама, Лос-Анжелес)

«Проза Юрьева, дерзко перегоняющая сюжет в сюрреально-абсурдные сцены, достигает виртуозности и самобытности.»
(Нойе Цюрихер Цайтунг, Цюрих)

Книгу можно получить почтой через зарубежного представителя издательства по адресу:

**D. Zax, Breslauer Strasse 22,
D-60598 Frankfurt am Main, B.R.D.**

Цена включает пересылку: 10 амер. долларов или 15 нем. марок.

Оплата чеком или наличными.

ПРАЗДНИК СВЯТОГО ЛЕНИВЦА

12 сентября.

Я живу в эмиграции. Жить в эмиграции – это значит жить не в той стране, в которой родился, а в какой-нибудь другой. Когда я родился, то сразу заплакал. И, кажется, с рук акушерки полез обратно. Но меня не пустили. Так я оказался в стране, основным разговорным языком которой был русский. Наверное, русский язык ничем не хуже других языков. Китайского, скажем, английского, пушту или урду. Прекрасно организованный язык. Многие жители других стран, никогда не принадлежавших к Российской империи, внимательно изучали его и даже достигли в том некоторых успехов. Правда, тонкости из их речи иногда ускользают. Не все они могут отличить, например, течку от текучки или часового от часовщика. Но я-то знаю его весь, поверхностью ушей различая тонкую семантическую разницу между словами „лепетать“, „лопотать“, „уплетать“ и „улепетывать“. В языке же страны Израиля, пустившей меня на постой, я до сих пор путаюсь в таких понятиях, как „цильцель“, „пильпель“, и „шильшуль“*. Находясь за границами России, я постиг любопытную закономерность: подавляющее большинство богатых, беззаботных, счастливых и преуспевающих людей во всем мире как правило от рождения не говорит по-русски. Но местный язык, фаллический

* „цильцель“ (иврит) – звонил,
„пильпель“ (иврит) – перец,
„шильшуль“ (иврит) – понос.

по начертанию и называющийся как заболевание, придуман не для меня. Удобнее лгать на привычном языке. Впрочем, название денег запоминается сразу и надолго. Деньги называются шакалами – не правда ли, чрезвычайно удачно?

Если верить еврейским мудрецам, изгнание постигло мой народ из-за беспричинной ненависти одного еврея к другому. Так написано в тонкой глянцевой книжке, подаренной мне на улице людьми в черных шляпах в знак моей ненависти, о которой они не знали. Бесплатное поощряется. Я прочитал книгу. Она обещала Великое избавление и конечный Исход, явленные через „ахават хинам“ – беспричинную любовь евреев друг к другу. Мне кажется, что пуля и бомба служат достижению не простого, а именно Великого избавления и исхода гораздо лучше. Но я не вернулся обратно, на ту же улицу, спорить с евреями в черных шляпах. Незачем, да и лень. Если из-за всеобщей ненависти нас постигло изгнание, то из-за моей пусть постигнут вши. Или жабы. Или искупление, за которое не придется платить.

В Северной Корее двое молодых людей, лет семнадцати, парень и девушка, шли с цветами и лопатками к памятнику маршалу-отцу Великому Вождю Ким Ир Сёну, чтобы взрыхлить под памятником землю и посадить цветы. Я бы не узнал о них никогда, если бы некие люди русские, из России, не приехали в Северную Корею, в которой был какой-то фестиваль, и не встретили этих молодых людей на улице. Но они приехали и встретили. – Куда идете вы? – спросили русские. При русских находился переводчик от корейских властей, и переводчик перевел. – Идем к памятнику маршалу-отцу Великому Вождю Ким Ир Сёну, чтобы поухаживать за ним и посадить цветы, – ответили молодые корейцы. Переводчик перевел. – Зачем вы это делаете? – спросили русские. Переводчик перевел. – Мы очень любим и уважаем маршала-отца товарища Ким Ир Сёна, – ответили корейцы. Переводчик перевел. – Они не американцы, – подумали корейцы. – Несчастные оболваненные дети, – подумали русские. – Вы так молоды, – сказали русские, – а за памятником и так постоянно ухаживают. Неужели вам некуда больше пойти и нечем больше заняться? Переводчик перевел. – Мы любим и

уважаем маршала-отца Великого Вождя товарища, – ответили корейцы. Переводчик перевел. Корейцы знали, что в природе нет людей, не уважающих маршала-отца. Не то, чтобы убивали каждого, кто потеряет уважение к маршалу-отцу, а просто не существует в их кругу среди знакомых во Вселенной таких людей, и те, от кого в детстве корейцев зависело все, кто давал им теплую корейскую грудь с молоком, те уважали маршала-отца. – Они уедут, а мы останемся, – подумали корейцы. – Надо уважать маршала-отца. – Несчастное поколение, – подумали русские. – У нас перестройка, а у них нет ничего. – До свиданья, – сказали русские. Переводчик перевел. – До свиданья, – сказали корейцы. – Я слишком большая, не помещаюсь в карман, – улыбаясь, подумала молодая кореянка и застыла сердцем, – пусть бы эти русские увезли меня в свою Америку, там я бы вышла замуж за высокого красивого американца, я хорошо служила бы ему, и он приносил бы мне много вкусной еды и давал бы телевизор, а наши дети никогда бы не знали маршала-отца. Кореянка улыбнулась переводчику отдельно. Она ушла со своим парнем, русские ушли с переводчиком. У русских впереди был фестиваль, у переводчика – бесконечная работа, а у молодых корейцев – цветочная клумба перед памятником маршалу-отцу Великому Вождю товарищу Ким Ир Сёну. После фестиваля русские вернулись в Москву – заметьте, они, конечно, были из Москвы, они раньше заслужили право отправиться на фестиваль, – и описали эту встречу в одном из русских журналов. Так о ней узнал я. Маршала-отца звали Ким Ир Сён. Как звали молодых людей, удобряющих его памятник, я до сих пор не знаю. Не знаю, как звали переводчика. Имена русских я тоже забыл. Так мало я знаю в мире; я не помню имена всех убитых за то, что покойные при жизни не уважали маршалов-отцов. Я и сам не уважаю маршала-отца. Я не был на этом фестивале.

Впрочем, я знаком с человеком, который очень хотел поехать на этот фестиваль, и какой-то промежуточный подполковник-деверь даже обещал ему нечто неотчетливое. Разумеется, послали другого. Нужно сильнее уважать своего маршала-отца.

Интересно, что нужно сделать, чтобы испытать беспричинную любовь? Кроме беспричинной злобы и тоски я уже, пожалуй,

ничего не умею испытывать. Еще, правда, злорадство. Какое великолепие – я приноживаюсь к запаху собственного тела. Ах! Ах! О, наслаждение. О телесных запахах люди знают то одно, что их нужно уничтожать. О, глупство то есть.

Воспою запах ног. Запах дочиста отмытого влагалища – слабоват, запах невымытого – резок. Подмышки расположены слишком близко к носу, чтобы запахом их можно было наслаждаться. Если трудно отстраниться, кайфец станет жирным, глинистым, вязким, смертным. Некайфно. Мужской пах – смесь рубленого мяса и соленой рыбы. А ноги далеки и потому нежны. По дороге к ноздрям грубость пота успевает выветриться. Мои ноги пахнут очаровательно. Значительно слаще цветов. То есть, конечно, в цветах есть особая прелесть, я ничего не говорю (оправдаться, оправдаться скорей, общественность следит, родители подкрались, дети-крикухи играют за шеей!). Нюхайте себе свои цветы на здоровье (смешно – букетик беговых ног, межпальцевые катышки куртизанки, дайте мне три недорогих ароматных ноги – две мужских в соку и девичью-подростковую). Нет, цветы, духи, свежие запахи соснового леса – все вам, сраное человечество, вдыхайте ароматы, возъебленные мои согражданчики. но только ноги, они... Они дышат так тонко, нежно. Конечно, если их утомить, истереть, запарить в плотной обуви, в кирзе, в резине – может шибануть в лицо нюхателя запах задохшейся кожи, подмозольная сукровица, крик умирающих пяток. Но на свободе, под простынной тканью они распускаются, в теплой комнате на второй, лучше на третий день они немножко по сухому полу, немножко по ворсу ковра – и вот, запах такой свойский, тихий, как шелест ветра. Как будто пропавшему в тайге померещился дымок жилья – на секунду, на миг один, и пропал. И пропадающий бедняк всхлипом, вдохом тянет в себя ветер, принесший дым, пропавший дым – но уже нет его, и не пахнет дымом; чтобы пахло дымом, надо, чтобы сейчас пахло дымом, и в следующую секунду пахло дымом, и позже на миг нос еще втягивал дым, слабый, но истинный жилой аромат дерева в огне, варева, углей. Но нет, тайга кругом, сырые толстые корни, сырая земля – что это было? был ли дымок? и дымок ли? или просто так тянет к жилью, к теплу, вспомнилось, помсти-

лось? Так и ноги мои – пустят сперва слабенький вздох, и я в недоумении верчу головой, будто здесь был человек, который никогда не обидит меня, непередаваемый источник радости, верный мой друг по незнакомому имени, и сделал шаг, и ушел. Нет его – но не боюсь, не боюсь, еще через время, через час или три запах возрождается, становится сильнее, заметней; является пред лицо мое, не гниет, но пахнет, бодрость и спокойствие, бесстрашный, не стыдящийся себя запах живущих ног воздымает благой аромат, радостную завесу благоухания, приятного Господу. И сквозь толстые стволы таежной дряни видна просека, и дым, дым до погибавшего долетает все явственней, четче, а за дымом дом, хлев, сараи, куры, сани с задранной оглоблей, хозяин снует по двору, хозяйка суетится, пахнет уже и рисовым пудингом, и воды напиться дадут, и хлеб, хлеб. И смерти нет! По крайней мере в этот раз – смерти нет. Так и ноги мои. Они поют мне, что будет жизнь вечная. Кислый ли их запах, теплый ли, кровяной, потный, веселый, деликатный – ничего не могу сказать, но лишь вдыхаю его и улыбаюсь блаженно, блажно, улыбаюсь ему. Смертному мне так пахнет бессмертие мое. Хотя откуда бы в тайге мог появиться рисовый пудинг?

12 сентября. 17 часов 35 минут.

Эту пару я заметил сразу. Уж очень колоритно они выглядели. Совершенно одуревшая от усталости и жары молодая семья. Они ругались. То есть, конечно, самой ругани я не слышал. Они ругались между собой, как культурные люди, почти не повышая голоса. Но когда у молодого, пухлого человека такой вид – то минуту назад его наверняка назвали ничтожеством. И когда рыжая, тощая и скуластая гражданка морщит покрытое пятнами лицо – смело можно утверждать, что она только что слышала о себе гадость. И услышанное ей, наверняка, не безразлично. Славное солнце побелило уличные скамьи, стены и пыль, солнце нагрело красную землю до трещин. При плохой погоде общая безысходность жизни значительно возрастает, а жара не может быть погодой хорошей.

Я выяснил, где они живут. По всей видимости – квартира съемная. Дверь направо, в последнем этаже четырехэтажного дома. И наверняка мебели у них немного, а та, что есть, частью хозяйская, а частью подобрана на улице. Или подарена добротными соседями. Выяснить дислокацию объекта, – романтика, не правда ли? слова „дислокация“ и „объект“ вносят романтическую ноту в изложение жизненной истории, в техническом же материале они вызовут скуку и тоску, – было совсем несложно. Просто пройти следом. Район не возле рынка, шатающихся под окнами негритянок или придомовых носатых старушек почти нет. Тихий район. Мне нравится тишина, она предсказывает безопасность. Мне нравится моя жизнь, бедная, старая жизнь еще нестарого мужчины. А окружающие удивительно злы. Как псы.

Погоуляв, вернулся. В пять часов окончательно определилась и поразила меня обидная мысль, что Анна не придет ко мне сегодня. Трижды гостила она у меня в постели, в „берлоге отшельника“ – высокопарность ее слога искупается вечерним мастерством. Трижды платил я за ее развлечения, смотрел, как она трогает своим сочным алым язычком коньяк в тонком бокале, встречал выходящую из темного чернильного моря с огромным пушистым полотенцем в руках. Трижды кричала она мне в губы неразборчивые слова, стонала и изгибалась, однажды расцарапала мне спину, но заметила это только когда мы одевались. Ее муж хочет стать бизнесменом, он успешно увяз в банковской паутине, депрессии он чередует с лихорадочными периодами деловой активности. Они вместе уже десять лет, исщупали друг дружку до геморроя. Какая уж тут домашняя страсть? И она приходила ко мне, и месяц прошел под ее знаком. Но сегодня она не придет.

Не придет. Она обещала прийти в половине третьего, когда жара выказывает первые признаки спада, когда муж в большой неоплатной машине уезжает по клиентам на весь вечер. В моем старом доме не слишком жарко даже в полдень. Зимой в нем наверняка будет сыро, но что беспокоиться о зиме, если зиму я проведу в другой компании. Да возможно, что и в другом доме. Но сегодня мне под вечер неуютно одному. Не то, чтобы я очень ждал Анну, нет... А так. Все-таки завтра предстоит нелег-

кий день, и хочется заправиться положительными эмоциями. Мне нравится, как она кричала: „Да, давай же! еще! еще! только не отпускай меня сейчас! не отпускай! а-а-а-уау!“ Ласкало слух. Конечно, можно удовольствоваться кем-нибудь другим. Можно пройти по четырем улицам, и откроется недавно застроенный район. Там живет разведенка Инна, запасный вариант, ждущая, когда вновь позовут замуж. Худая, ломаная, с дочкой, ее пятилетней копией. И надо погулять с ними, а когда дочь уснет, Инна крепко зажмурит глаза. Нет, не хочу. Противно беседовать об ипотечных ссудах, о повадках квартирных хозяев, о детских потребностях и словечках.

13 сентября. 9 часов 20 минут.

Замки бывают старые и новые. С новыми даже возиться бессмысленно. Под плоский, лопатой, ключ, снабженный не только краевыми бороздками, но и круглыми выступчиками, и стальной бахромой в среднем углублении, я ничего пока не подобрал. Двери с новыми замками обычно полые, стальные, три штыря выступают из них в стены и пол, когда замок закрыт. Может быть, и такие двери я смогу открыть, если повожусь с ними хорошенько. Но только много времени на это уйдет. Может вонь возникнуть. Пойдет кто-то вонючий сверху-снизу, подумает: а что это он тут делает?, спросит: кто ты здесь такой?! Все беды от людей, их слишком много в мире. Старые замки честнее, надежней, проще. Полоска ключа с реформистской раввинской бородкой снизу. Она демократичней, народной. Она поддается повторению, отождествлению. Две, три, ну четыре минуты – тонкий инструмент подхватывает все уступы и упоры замка, и – пожалуйста, батюшка барин. Милости просим. Бывшая девственница в вашем распоряжении, легла и ждет, страстно дрожа. Даешь!

Сегодняшний замок старый, заслуженный, открывается с тихим щелчком, даже не металлическим, а костяным каким-то, лестница мертва, дом мертв. Трудяги уже убрались, мотыльки еще не просыпались, десятый час. Добрый час.

Первый раз отличается от очередного только волнением.

Точно вам говорю. Что в первый может не сойти благополучно, что в последний. Раз, в который не сойдет благополучно – он и есть последний. Чтобы сошло благополучно, надо... Да черт его знает, что надо. Конечно, подготовиться. Чтобы на лестнице не ждать секунды лишней, в доме не оставаться ни на секунду дольше, чем следует, чтобы окончить все. Не попасться никому на глаза. Для этого хорошо одеваться в неяркое зеленое, синее. в розовое. Не суетиться на выходе. Идти быстро, но без суеты, Аккуратно сворачивать за углы. Найти надежный канал сплава. Иногда менять адрес, ни разу не оставляя достоверного сообщения о нем на прежней квартире. Не вызывать подозрений у соседей и не якшаться с праздношатающимися, никому не смотреть в лицо; смотрящие в лицо запоминаются в первую очередь. И, конечно, не волноваться, что в первый раз, что в последний. Все проходит. И это пройдет.

Важно еще ни на что не рассчитывать. Тогда все, что найдешь – благо.

На деньги я особо не надеялся. Их обычно с собой носят, а уж если случайно какие в доме окажутся, то с документами в белье, или в сумочке женской выслужившей на полке шифоньера хранят, а то в портфельчике на дне одежного шкафа. Бывает и на кухне, за посудой. Тем приятнее было увидеть в ящичке тумбочки две сотенных израильских новых бумажки рядом с тремя старенькими десятидолларовыми. Пройдет! В карман их. Отцепить видак от проводов, в сумку его – поперек лезет, влез. Метрики советские – самая насущная сегодня дичь, а не попадают. Банковские счета, два диплома, справки, справки, корешки чековые, письма... К черту! Сверху в шкатулочке расписной – дерьмовая бижутерия, разве что янтарь... Беру, там разберусь. Часики на столе – механическое новье, но идут – лучше электронных. В сумку пошли. Раз документы в тумбочке, стало быть, шкаф – фуффло трехдверное. Для очистки совести посмотреть, и мотать, и быстро. О! а это почему тут? тяжелая коробка – в таких обычно в совковой ювелирке серебряные ложки продавались. Точно – весь набор в бледной позолоте. Тяжелый, зараза. Улегся. И под коробкой вдруг пакет открылся. Что такое?

В пакете лежали тончайшие черные шелковые трусики-паутинки. Еще не оскорбленные ноской, не питанные водой. Шакалов пятьдесят такие в бутике тянут, шестьдесят, может. В сумку трусики!

Никогда не берите одежду. Сгорите в две минуты, лучше пустым уйти, чем вязаться с одеждой, пусть даже самой дорогой. Сдать ее здесь невозможно, и даже если сдал – это копейки, крохи. А опознается она моментально. Ни одежду, ни сумки или чемоданы из квартир не берите. Пришли со своим и ушли со своим. И попользуетесь, и здоровы будете. Но на этих трусиках я не устоял. Да и расчет простой: бабы куда реже видят на теле белье друг дружкино, чем мужчинам его показывают. Инка меня за них галопом по дивану провезет. Если, впрочем, за неделю не найдется у меня никого, более достойного такого подарка.

Все, отход. Вся процедура – четырнадцать минут. Хорошо, что не тринадцать. Суеверный. Тихо прикрыл дверь и по лестнице с сумками на носках быстрых, мягких – та еще акробатика. От поезда до угла – никого, направо, за серый забор, опять направо, прямо, рабочие в грязном несут гипсовый лист, не до меня им, а в сущности, моя работа не легче, чем у них, да только реже, и получу я больше, получишь – прокурор добавит, здесь без прокурора судья, говорят, сам управится, даже без присяжных, а то вдруг оправдали бы по бедности и страданиям моим, и быстро – не торопись, держи лицо, спину держи! – наискось по улице до автобусного столбика. И вдалеке ползет, крыша серая, передок красный – автобус. Вот и подъехал.

Теперь до центральной автостанции, а оттуда на другом совсем маршруте – прямо и ко мне. На базу. После успешного полета эскадрилья возвращалась на базу без потерь. Слава героям. На автостанцию многие с вещичками ездят, там человек с вещами – норма, даже если он незаметный герой, вроде меня.

В первый раз я, честно говоря, очень передрожал. Часа полтора по городу кружил и на пустыре отсиживался, следы путал. И зря, как сейчас понимаю. Чем меньше на улице мелькаешь, тем лучше. Хотя в первый раз мне повезло так, как потом ни

разу не было. И золота было пару вещичек, и видеокамера японская, хорошая, и, помню, даже бутылка датской водки в футляре-холодильнике. Растет благосостояние нашего народа. Теперь шестой раз. Теперь привык.

Автобус потряхивает, городок помелькивает мимо. Сейчас я не стану разбирать барахло. Сейчас подзакушу – пригодилась бы за успех крошечная рюмочка датской водки, да выпита давно та водка, – и на службу. Легкая есть синекурка у меня: дважды в неделю подметаю крохотный дворик. Дом фешенебельный, улица почти центральная, пальмы, олеандры, фикусы – как в старом советском ресторане. Помню, в прошлой жизни в Прибалтику заехал, так ходил, как между театральных декораций; будто загримированный мушкетер на меня сейчас выскочит. А здесь – как в летнем ресторане; будто вынырнет из куста официант, и – „чего изволите?“ И попробуй только ничего не изволить, в землю втопчет.

В этом дворике мне иногда штаны перепадают. На втором этаже пятиэтажного, двадцатиквартирного дома с лифтом живет хозяйчик магазина одежды. Когда у него образуется совсем неликвидная одежда, он аккуратно свешивает ее через перильца над газоном. Штаны и футболки попадают очень даже неплохие. Да я и не франт. Иногда он или кто другой проходят по дворику как раз в тот час, когда я там. Некоторые даже изволят делать замечания. Чувствуется в их замечаниях горячая приверженность родной земле. Они так серьезны, будто без их указаний рабочему, обустроивающему крошечный дворик их родной земли, эта родная земля будет обустроена неправильно. Каждому, сделавшему замечание, я персонально и весьма охотно нанесу великолепный удар метлой по кумполу. Когда-нибудь, в будущей жизни. Я ненавижу этих болванов. Я улыбаюсь им. О, счастливые владельцы лишних продуктов! Веселые русские умертвители приветствуют вас. Не запирайте толстые двери жирных ваших квартир. Пусть будет ваша дверь открыта.

14 сентября. 16 часов ровно.

Гошка сидит на круглом кожаном стульчике, слоник пузатый,

и пиво пьет. Я знаю его год, и терплю, и втайне восхищаюсь им. Он надежен. Мало говорит, не любит говорить, и слова сочетает редко. Пиво он привез с собой, пять бутылок. Одна мне. После четырех бутылок пива он ведет машину так же, как трезвый. Ни разу еще не останавливала его полиция, не штрафовала ни разу. Я не знаю ни адреса его, ни службы. Я получаю от него ничтожные суммы и не желаю иметь дело ни с кем другим. Вещи, ушедшие к нему, уходят как в колодезь, мертво. Сегодня он привез ко мне тумбочку, и, черт побери, тумбочка похожа на него самого – такая же устойчивая, уютная, уверенная. Она кажется тяжелой, но на самом деле легкая. Он, пожалуй, тоже. Наверное, у него есть жена и дети, и он любит их. Тумбочка – это не подарок мне, напротив, мое жилье – всего лишь временное пристанище для вещи, и в следующий раз он заберет ее. На иврите Гошку зовут Гад, очень удачно, не правда ли? Он закуривает „Кент“ и смотрит перед собою неподвижно, расслабленно. Если я его оскорблю, он меня ударит. Он спросил у меня, не хочу ли я „покрутиться“, и ожидает ответа, терпеливый и мудрый. Пожалуй, я спрошу его: „Зачем?“. Я-то спрошу, да он-то не скажет. Может ли он сказать, зачем трудятся люди, утруждая себя? Если я соглашусь, мне придется торговать, либо торговаться, либо переносить предметы средней тяжести с места на место для помощи ему, либо встречать в аэропорту малознакомых жадных девушек, либо искать среди временно холостых тех, кто продаст свое имя и документы, чтобы устроить сначала брак, потом развод, либо сделать так самому, а может быть, походить незримым следом за кем-то по городу или выступить свидетелем незнамо чего в суде. Придется волноваться, волноваться и волноваться, беспокоиться и суетиться, потому что не беспокоиться на людях при таких делах я не смогу. Никто не заметит моего беспокойства, ни люди, ни Гад, но я сам познаю суету сует, и всяческая суета охватит меня. А дома она будет выходить из меня дрожью и блевотой. Наверное, на чеках, которые я стану держать в липких руках, или на моем счетике в банке впервые в жизни появятся пять значащих цифр подряд, и много лет я, чужак здешним деньгам, должен буду упираться, чтобы таких цифр стало шесть,

но возможно, что сего так и не станется. Хуже того, мне придется убеждать людей, видеть которых я не люблю, в том, во что сам я никогда не верю. Потому что крутиться здесь можно только среди людей. Я настолько не верю никаким людям, что просто не понимаю, зачем они начнут верить мне. И от этого тоже беспокоюсь. Буду же радоваться теперь тому, что в моей жизни волнуется только Средиземное море. Гадкому Гохе надо отвечать, он ответа ждет, он не дожидается честного ответа, чтобы я ему ни сказал...

– Я северный олень, понимаешь, северный! Я привык питаться мхом, ягелем, бля, говном из-под снега, да и то хер достанешь. Вот рога мои, тяжкие, ветвистые, и волки кругом, и снег. Ох, как удержаться, не сказать ему: „Такие, как ты, волки!“ И я такой же волк, понимаешь, волк и олень, и морж, и белый медведь из вымершего племени динозавров охломонов победителей могикиан, засранцев. Но я один, понимаешь, один, я подчинен, но один, ниц – а зато мое северное сияние, и я часто делаю что хочу, а не хочу я ничего делать, и я забиваю на все железный болт, а только кушать, книги и ноги до потолка. А ты зовешь меня делать бабки, волноваться по пустякам, и разговаривать с такими – нет, ни фига не скажу ему: „С такими как ты! – дикими кабанами, которые только и смотрят, как бы нажухать кого поближе, потому что за дальними им далеко тянуться. Мне хватит, на мой век хватит, а не хватит, так я себе достану, из под снега достану, но достану я только себе и не понесу ответственности, а максимум, что срок. А ты зовешь меня питаться бананами, сладким сеном, жирным и сочным сеном, меня, северного оленя, чтоб я сдох от этой пищи, жирной и вонючей. Мне не нужен автомобиль с телефоном в кармане, чтобы среди дня и ночи искали меня и находили все козлы, кому не лень сломать кайф моего одиночества. Нет, хуже во сто раз, ты хочешь, чтобы я беспокоил себя по поводу участия в прибыли, которая прибыль и для тебя. И хлопоты мои скушали потом твои дети?! Бабушке своей расскажешь!“

Странные у нас отношения. Не дружеские, хотя в детстве мы овладели одним и тем же языком. Не отношения нанимателя с нанятым. Не деловое партнерство. Я для него так, мелкий

необязательный поставщик. Даже в наемные убийцы, полагаю, он меня не прочит, потому что значительно проще привезти наемного убийцу из России. По-моему, там живет множество наемных убийц. Но ему интересно иногда меня слушать. Я вижу это только по тому, что он не торопится уходить. Естественно, мне приятно заполучить слушателя. У православных христиан был святой Симеон столпник. Он сидел на столбе на маленькой площадочке вроде клотика и молчал, а внизу копошились православные христиане. Они поднимали головы вверх и вякали: „Прореки нам, святой“. А он молчал. Ну, разумеется, оправлялся и все такое прочее. Они разошлись. Под столбом воняло. Посидев так со времечко, Симеон вдруг понял, что вполне готов проречь. Глянул вниз – а слушателей ни одного. А святой он потому, что в этот момент сдержался и не забогохульствовал. Он с терпением ждал слушателя, хоть одного – и дождался. Когда чуть развонялось, подошел один. Сима с ним сначала ласково так, мол, хлебца бы или водицы, мол, мы святые, такие же, как миряне, только подвиглись на трудное и крест несем, а потом и запророчествовал. Чего, думаешь, я здесь сижую? Грядет грядый во имя Господне! Слушатель не уходил. Грядет, ей, грядет, да как накатит, да размахнется, да нальет в ухо, в загривок. Огнем, мол и мечом буду крестить вас вместо воды, кровью умоетесь вместо мыла, клизму всем с битым стеклом и тигровыми иголками. Берегись, бди! Улда-булда, хурды-мурды. Гошка сидел спокойно, слушал, в чуть сонных щеках прятал тоску, лукавство, страсть поразвлечься. В словах моих раздолье, удаль, отвага. Отрешись от суеты, – говорил столпник, а слушателю слышалось: подсуетись, чтоб от суеты отрешиться. Кто дает ближнему, дает благо, ближнему давай и дальнему не откажи. А слушатель знал: кто дает немного – просит, чтобы у него отняли все, и протянувший подаяние в руке своей достоин, чтобы ему отрезали всю руку. „Внемли“, – говорил столпник. „Заткнись“, – слышал внизу. И еще он был святой потому, что не знал, что нечего говорить. А под столбом поля, поля, сады, мандариновые рощи, вишневый сад, Чуйская долина, Центральный парк, Полицейский садик, поротые спины, клейменные лбы. Когда слушатель ушел, Симеон замолчал. С тех пор звали его

не только Столпник, но и Молчальник, хотя молчания он долго выдержать не мог, если появлялись у него Настоящие Слушатели. А иначе – что с тобой и базар заводить.

Я не возлюбил святого столпника. Чихать хотел на все, во что он верил. У меня свой святой, клевенький такой. В мире он называется Святой Ленивец. Он потому свят, что получает все лучшее бесплатно и оттого живет вечно. Он не создавал неба, ни земли, ни комара, ни мухи. На седьмой день он прилег отдохнуть, хоть и не очень-то устал. Нет пророчества у него, а служение ему – жизнь, и каждый день ее – праздник. А если у него случались в житии тяжкие испытания, он сразу – брык! – ненавязчиво помирал, как птица Феникс, и смотрел на все тяжелое со стороны, иногда приговаривая: „Надо же, как лупят“. После смерти он каждый раз становится ангелом, и когда люди выбирали себе ангелов, я выбрал его. Теперь мои дни – дни ангела Ленивца, каждый день в отделку и все они чохом. Чем меньше я знаю о святом ангеле моем, тем больше уважаю его, а служба ему и есть житие мое. И изгнавший заботу – пророк его. Но не объяснить этого Гаду.

Как я ни говорил, Гошка не обиделся. В конце концов на тех шестистах, что он дал мне сегодня, он поднимет еще шестьсот или чуть больше. Я помогаю ему донести вещи в машину, никогда не знаю точно, что он на самом деле думает. Обо мне думает, о жизни, о себе. Может быть, он не думает вообще ни о чем? Впрочем, он далеко не дурак. Когда-то я жил среди дураков. С дураками тяжело, а с ним легко. Слушает себе – послушивает, да молчит. Дать бы ему пинка да отнять бумажник, но опасно. Слишком опасно.

Небесная печь погасла, и я выбрался к Инне. Анна отказалась говорить со мной по телефону. Месячные или муж. Сказала: „Нам нужно встретиться.“ Нужно-то нужно, только кому нужнее. Ладно, договорились. Все равно излить следует. Иду к Инне, дышу воздухом. Значит, у меня сейчас две рабочие телушки. Инь и Ань. Похоже на то. Пиво во мне. Шоколадка для Инь. Маленький подарочек в кармане. Мысли снова плавные, нежные, как чешуйки молодой рыбки.

14 сентября. После 20 часов.

„Представляешь, – говорит мне Инна, – с одной моей знакомой случилась неприятная история.“ На диванчике, горбатом, с толстой спинкой, довольно приятно. Под нами прохладная шелковая простыня – ее лучшая простыня. Девочка неслышно спит в своем углу. День был трудный, поэтому я все тянул и тянул телесную близость, а она стеснялась ребенка, стеснялась вскрикивать, но потом не выдержала, вскричала, а девочка не проснулась или сделала вид, что спит, и теперь Инне хорошо. Вялый ее сосок касается моего плеча. Она достала бутылку вина, и мы выпили по стакану. От этого ею овладела разговорчивость, а мной – тоска, которую нужно скрывать. „Очень приличная семья, он такой красивый мужчина, спортивный, а Лялька – халда, но симпатичная. Они из Молдавии, уже три года здесь живут. Может, уедут. Так вот, на улице к их мальчику подошел марокканский мальчишка старше его и стал его бить. Просто так, представляешь. Ну, мальчик побежал домой, отца не было дома, он маме пожаловался, она выскочила на улицу, так к ней подбежали две марокканки и стали ее царапать. А одна сняла туфлю и ударила ее туфлей по лицу. Каблуком. Лялька ушла домой вся в слезах, пришел муж, она ему рассказала, что на нее напали, а за что напали, почему – ничего не понятно. И он пошел разобраться. Так эти гадины набросились на него с палкой, он палку отнял, приехали полицейские – и знаешь, что они сделали? – одели ему наручники и увезли в участок. А эти стервы пошли тут же к врачу и сняли побои, как будто их кто-то бил, а они просто сами натерли и поцарапали друг дружку. И когда он в участке спросил их: „Почему? Зачем вы это сделали? Зачем вы на нас напали?“, они так прямо не скрывая сказали ему: „А ты нам заплатишь!“ Понимаешь, эти марокканки уже всем должны, назанимали кучу денег, не работают, им даже в лавках уже больше продуктов в долг не дают, у них есть нечего. А у них какой-то знакомый адвокат. И они обвиняют Лялькиного мужа, что он их избил, и передают дело в суд. А адвокат предлагает: „Чтобы вас не обвинили в суде – вам все равно придется заплатить – давайте решим

дело полубовно, и мы дело закроем, отзовем.“ Тысячи три или пять так можно получить. И они своего ребенка просто подучили специально, они ж видят – машина есть, одеты нормально, оба работают – значит, наверное, богатые.“

Я быстро прикидываю, что тысячи три шакалов – это на сегодня почти тысяча долларов. В более диких странах убивают за меньшее. Жадные жалкие нищие, как дети, не умеют производить вещи или деньги, но прекрасно чувствуют, у кого из взрослых людей их можно выпросить или отнять. По газетным слухам, в Италии, в Риме возле гостиниц крутятся стайки десяти-двенадцатилетних девочек, которые бросаются на туристов, вырывая сумочки из рук, таща бумажники из карманов – и разбегаются, а если ограбленный схватит одну из них, она сразу начинает плакать, – и непонятно, что же делать с плачущим упирающимся зверьком в руках. Этого слуха достаточно мне, я не поеду туристом в Италию. Но стерва Инна рассказала мне вонючую трагедию говорящих дома по-русски людей, ограбленных крупнотельными детьми из арабской страны, чтобы показать, что и я дерьмо, и я, мужчина, против агрессивной хитрости бессилён. Или... Не догадывается ли она о промысле? Я скашиваю взгляд на ее влажное несчастное лицо. Нет, не должна бы.

Для ее восторга, наверное, мне следовало бы, придя на дом к незадачливым грабительницам, устроить им показательную публичную и безнаказанную порку. А после, воротясь к ней домой, ласково голубить ее, прекрасную. Но мне противно. А приятнее всего было бы пристрелить. Марокканок, пострадавших русских, идиотов полицейских и ее самое.

Черт знает, сколько народу я еще должен убить и никогда не убью.

Впрочем, ее рассказик выстроен драматургически приятно. Ничто в мире не выстраивается по правилам драматургии, кроме сюжиков-пусиков, созданных для тихого чтения со страниц или исполнения вслух актерами. Всемирная история никогда еще не заканчивалась, но в промежутках ее происходит немало событий, имеющих внутри себя условное окончание, метку, после которой локальную историю можно считать завершенной. За этой меткой начинается другая история. Литература только

этими самыми историями и держится. Истории, да... Вот пару месяцев назад видел я наяву собирателя историй. Собирательницу, точнее. В кафе под тентом познакомились. Она с подружкой сидела, беседовали по-русски. Оказалось, что подружка здешняя, замужем, сексом обеспечена так, что втиснуться некуда, а она, собиратель, из Копенгагена. То есть теперь там прописана. Людмилой зовут. Вроде на недельку приехала нахватать материалов для сценария фильма из израильской жизни, как будто в Копенгагене кого-то интересуется здешняя жизнь. Хотелось бы знать, что ее интересовало на самом деле. „Ну, например? – спросил я ее. – Назовите какую-нибудь историю, чтобы я мог разобраться тоже, что же это за истории такие. Что историей-то считать?“ Она поведала: „Ну, вот я брала интервью у одного израильянина, и он рассказал мне такое: в армии его как-то отправили служить на территории. Он с патрулем, полицейская машина. Арабская демонстрация. Арабы начали камни кидать. Один большой камень попал в лобовое стекло машины. Стекло вдребезги. Он с товарищем заметил того, кто бросал, у того все лицо было куфией замотано. Они догнали его, бросавшего догнали, и сильно-сильно избили, живого места не оставили. Сорвали с лица куфию – и под ней неожиданно увидели женщину. „Ага! – заметил я, – это действительно трогательная и интересная история. Ну тогда при моем образе жизни мои истории должны заканчиваться словами: „...и когда я зажег в комнате свет, рядом со мной я неожиданно увидел мужчину.“ Она с подружкой вместе смеяться изволила, но историю мою так и не записала.

Мысль о том, что в мире существует телекомпания, интересующаяся неоконченными сюжетами, возбуждительно волнует. Мы уже разбежались давно по своим углам бытия, а случайные истории здесь, при мне. И завидуя тем, кто умеет продать слова свои далекому телевидению, ненавидя и презирая их, я собираю и собираю истории покорооче всемирной, чтобы тыкать ими тех, кто рядом со мной. На Ближнем Востоке принято оформлять их в виде восточных сказок, в которых сигналом об окончании смыслового отрезка обычно работают слова: „...и тогда принц зарыдал и сказал такие стихи...“ Нет у меня глупых стихов на

всякие истории, но вот я выхвачу из бытия одну. Рассказала мне эту историю медсестра, она в „скорой помощи“ работала. Медсестра была простая, разбитная и не дура выпить. Я бы назвал ее женщиной бальзаковского возраста, если бы она когда-нибудь прочитала хоть строчку Бальзака. Но нет. Так что было ей тогда лет около Бальзака в молодости, а звали ее не то Тамара, не то Клава, по-простому. И до поступления в „скорую помощь“ работала она в Доме-интернате для персональных пенсионеров. Очень советское понятие – персональный пенсионер. За пределами России каждый пенсионер, наверное, считает себя персональным. Комнаты у пенсионеров, по тем временам – роскошные, на двоих, а у некоторых и на одного – по привилегиям. Клава говорила: „Я пошла старичку давление смерять, который на сердцебиение жаловался. Ну, дверь была закрыта, я ее чуть толкнула, – она приподняла тяжелый зад с кушетки, на которой сидела, и показала рукой, как толкнула, – и вхожу. А они, понимаешь, на кресле устроились. Он сидит, с кресла почти сполз, только одни голые ноги в носках по бокам вытянул, – Клава развесила руки с растопыренными пальцами, будто девочка, изображающая плакучую иву, – ноги тонкие, желтые; а она у него между ног сидит и поднимается-опускается, поднимается-опускается. Трахаются, одним словом. У нее ни груди, ничего, спина тощая, искривленная, волосы седые, редкие. Ужас, конечно. Я сразу оттуда выскочила. Не могла смотреть, гадость какая. Ну, потом, когда я уже на посту сидела, лекарства раскладывала, она сама ко мне подошла. В одежде она еще была так себе, аккуратная старушка, чистенькая. Она подошла ко мне и говорит: „Деточка!“ Или нет, не так она сказала: „Милочка“, короче, она говорит мне: „Знаете, деточка, я прожила долгую жизнь, была несколько раз замужем, но настоящего мужчину, мужчину, о котором всю свою жизнь мечтала, я встретила только сейчас. Такая у меня несправедливая судьба. Пожалуйста, не осуждайте нас“, – говорит. Наверное, боялась, чтобы я старшему врачу не доложила, чтобы скандала не было. Конечно, я никому ничего не сказала, мне не жалко.“

И вот когда эта Клава или все-таки Марина, сейчас уже не помню, рассказала мне эту историю, я подумал сразу много

мыслей. И о том, что хорошо умереть до того, как придет телесная немощь, и о том, что хорошо жить дарящим ласку, даже старым и страшным, но стиха я никакого тогда не сказал, потому что не знал наизусть нужного стиха, сочинять было некогда, да и Клава не поняла бы, если бы я вдруг стихами заговорил. А еще мне стало очень интересно, успели ли герои окончить свою жизнь, не разочаровавшись друг в друге? Ответа этой загадки я не узнал до сих пор. Но когда я думаю, сколько народов живет в тесноте да сколько душевных драм происходит в мире, мне сразу становится легче. Раз они живут – незаметно проживу и я. А медсестра, все-таки Марина или даже Тамара, была не очень счастлива в браке, да чего там, просто не повезло ей, муж у ней был пьяница, и на „скорой“ она проработала недолго, ушла вольнонаемной медсестрой в военный госпиталь, где лечились молодые солдаты и немолодые офицеры, а военных врачей-мужчин было подавляющее большинство. Она потом мне сказала при случайной встрече: „Ой, в госпитале намного лучше. Там все мужчины – настоящие. А больные попу моют перед уколом, не то, что в „скорой“. Наверное, сама она теперь уж на пенсии, и никак не персональной. А то и умерла вовсе.

Я пересказал все эти слова Инне, и она заплакала. Недостаточно в ее жизни любви, сытости, покоя, безмятежности, уверенности и оргазмов, вот что.

У меня был симпатичный шизофренический друг. Поэмы сочинял, при газетах прихлебывал. А жил он в каком-то рабочем общежитии. Россия, зима, насилие провинциал устроился. Похаживала по коридорам молодая женщина. Лет около двадцати, маленького росточка, но фигурка, ноги, грудь аппетитные. Он заманил ее в комнату. Она не целомудренная была, все понимала, не обижалась. Он, когда рассказывал мне это, вроде удивлялся – и чего это тем бабам надо. Они разделись с ней, легли. Она поглядывала на него с немым восхищением: умный какой. Из культурной семьи, по-английски карманные детективы без словаря читает. Кончили, лежат рядом. Он сказал: „А сейчас, знаешь, в Каннах кинофестиваль проходит...“ Она смотрела на него влажными глазами – Боже, какой умный. Да-с, фестиваль. Актеры прогуливаются, актрисы. Джон Траволта, Ирен Шетленд,

Аньет Кунгвунгдо собственной персоной. Международное жюри. Фонтаны в гостинице, длинные платья с открытой спиной. Она смотрела на него: умный он какой и красивый. „Ты понимаешь, – сказал он ей, – ты никогда не сможешь попасть на этот фестиваль, никогда не окажешься в Каннах, хоть двести лет живи. Ну кому ты нужна в Каннах? Даже если ты когда-нибудь попадешь в Канны случайно за страшные деньги по туристской путевке или как, то на фестиваль тебя же все равно не пустят. Даже в ту гостиницу, где артисты, не пустят, потому что там на дверях служба безопасности. Международное жюри. Кто ты такая, спросят. А что ты им скажешь? Нечего будет говорить. Так и пойдешь с этого фестиваля, на который тебя не пустят.“ Она, не говоря ни слова, встала, быстро оделась и ушла. Он рассказывал мне это спокойно, буднично. Наверное, внутри мозга он ждал, что она расплачется. Но она не расплакалась. Еще из-за каждого дурака плакать!

Когда я от Инны уходил, она больше не плакала. От слез осталось только легкое покраснение и набухание носа. Она умылась холодной водой, угостила меня колбасой на хлебе. Куда ни переезжай, а душевные драмы будут происходить порусски. С выпивкой и закуской. С раздиранием в кровь рубахи.

Если я попаду в тюрьму, вот тут она, огорчась за меня, обрадуется. Может быть, даже свидание получит, передачу принесет. Сроки здесь небольшие, и она будет счастлива дожидаться меня из тюрьмы. После решеток я накинусь на ее тело со вполне естественным голодом. А она подумает: вот как он любит меня.

Теперь Анна. К месту нашей встречи нужно ехать на автобусе, дутым, красном, тряском, выкрашенном рекламой. Простой расчет времени показывает, что на обычный наш ритуал встречи с неторопливой прогулкой, визитом ко мне и этим... ну, этим самым, ой, я-то знаю, как это называется, но вот если бы рассказывал незримому постороннему читателю, то какое слово бы взял – близостью? – и встреча сразу приобретает ложное тепло, – сношением? – и она становится жесткой, функциональной, – половым актом? – исчезает весь вкус, будто милицейским протоколом вылизано, – короче, на обычный ритуал, позволяющий вернуть свое тело домой под контроль коменданта-мужа

до часу ночи ей как раз времени и не хватит, и либо она останется у меня – до утра? до изгнания? до посинения? – как противно будет изъяснять ей: слушай, ушла бы ты, а? сил у меня уже больше нет рожу твою видеть, либо мы просто ко мне не пойдём, а тогда зачем я еду к ней? – но еду, значит, готов к тому, что она останется. Уж отдеру я ее; после Инны и колбасы через два часа силы мои восстановятся, а острота ощущений умягчится, позволяя различать нюансы, и она будет визжать и ерзать, вздирая ноги к потолку – о властелин! сомни горячий белый живой пластилин! – а все остальное случится только потом или не случится никогда. И вот я еду навстречу дружелюбному влагалищу.

Мне не пришлось ее ждать, нет, это она ждала меня, сосредоточив лицо. Сумочка у локтя глянцевая, легкая, там лежат деньги, подаренные ей мужем. Похоже, сегодня она не расположена спать со мной. Может, занять у нее денег? Ведь если мы расстанемся, ей будет крайне неловко требовать у меня долг.

Мы медленно идем по улице, интимно беседуя. „Знаешь, я так больше не могу!“ – голос ее серьезен, спокоен, как на службе. Как в кино. Почему-то вся ситуация кажется немного кинематографической. Видели сто раз: страдающий пылкий он, страдающая холодная она. Видели уже.

„Я устала. Ты не готов для жизни со мной. Ты не можешь за меня бороться.“ – „Да, стерва, я не слишком хочу избивать твоего мужа или быть им избитым, но тебе вовсе незачем об этом знать. Победить в этой борьбе, а потом долго терпеть тебя, стерву.“ – „И потом, зачем я тебе нужна? Мы больше не будем видаться, так будет лучше!“ – „Конечно, но можно же дождаться, пока ты сама надоешь мне, а не форсировать события.“ – „Мне с тобой хорошо, но беспокойно, никогда нам не было спокойно вместе. Я всегда знала, что это не всерьез. Не огорчайся!“ – „Да я-то не огорчусь. Сделать огорченное лицо еще не значит огорчиться. Поди знай, вдруг у меня усохнут все иные варианты, а ты надумаешь снова перетрахнуться со мною, так не показывать же теперь, как свежа и хороша свобода.“ – „Теперь тебе не придется думать обо мне! Жаль, что я не смогла переставить

все как следует в твоей замечательной берлоге. Давно собиралась.“ – „Какое счастье. Еще лучше бы ты поступила, если бы просто молча приходила, раздевалась, позволяла бы вкушать на тебе восторги сладострастия, дрыгая ногами, а потом незаметно исчезала, оставляя на подушке несколько крупных купюр. Да от вашей сестры хрен дождешься. Вот ладить чужую жизнь по своему вкусу, на это вы все мастерицы...“ – „О чем ты думаешь! Где ты был сейчас?“

Где был? Кому какое дело. Где мысли, потоком плывущие, сон соблюдают, где ни слова, ни вздоха, в покое, где в иглах сосновых дорога нисходит по ласковым склонам, где лысые горы, где умерло все, умирая подвластное, где серые камни, и воздух прозрачен и сух, суете недоступный... – Да, да, я слушаю тебя. Подумай, может быть, не надо ничего говорить, а? Поедем ко мне. Ну, как хочешь, как хочешь, не огорчайся только. Черт побери, ну я же впервые в такой ситуации, и даже не знаю, что теперь говорить, понимаешь. Не сердись на меня, я старался ничем не обидеть тебя... Она обижается. Не показывает виду, и я вижу, как она не показывает виду, а губы, губы чуть-чуть морщатся, и тонкая нитяная морщинка у глаза оползает книзу, будто ее невидимый крошечный гном невидимым крошечным канатиком тянет. Она обижается сердито, гневно – как смею я не испытывать горя при мысли о потере ея, ЕЯ! – царицы вселенной и звезд повелительницы. А охотнее всего сейчас я трахнул бы ее в зад, чтоб орала.

У большинства утомленных жизнью и давно потерявших невинность женщин рты походят на рыбы. Углы рта книзу. Они спят с этим, просыпаются с этим, бредут на службу или по хозяйству, а углы губ книзу. Трагическая маска, готовность лица изобразить огорчение. Мужчины носят тяжкие подбородки, бритые щеки, но женщинам не за что спрятать душевную дрянь. Даже сытые женщины в богатых странах, и те рыбомордые. Не все, конечно, но страшно много их. Тела их сочные, сильные, груди пышные или дряблые, некоторые даже чиновницы или менеджеры, а рот-то рыбий. Они и детей рожают, корча рыбы рты. И улыбка на таких лицах похожа на временный переполох. За что я ценил Анну, ну, не то, чтобы ценил, но со скрытым ува-

жением, почти как к исключительной красавице – у нее рот прямой. Губы не в злую нитку, а нормальные, полные, целующие, а сам рот прямой. Не книзу. И я ее уважал. А теперь кривится. К старости-таки поползет. Книзу. Обоиими уголками вниз, как – „ой, обидели меня“. На кладбище понесут с таким ртом и в землю положат, не зная, что жить с таким ртом и есть жить в земле. Не зная, что лучший способ не обижаться – это не переживать обид.

И шел я домой бесстрашно, бодро, молодецки, обдумывая неотправимое прощальное письмо: „Дорогая, нежная, восхитительная бесхвостая собачка Анна! Ты произвела меня в кайфовники, а теперь разжаловала до простого страдателя...“ Продажные люди и орешки вокруг нежно утешали меня, и топот ног раздавался за мною, как будто три брата, Нездара, Незугара и Нечупара бежали вслед, мечтая поверстать меня в свое войско.

В Иерусалиме вышла в свет новая книга стихов

Г Е Н Н А Д И Я Б Е З З У Б О В А

„СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ“

Цена книги в Израиле – 20 шекелей,
в других странах – 8 долларов США
(не считая пересылки).

*

Желающие приобрести книгу могут
обратиться к автору.

Телефон: 02-6235185

Адрес:

Gennady Bezzubov, Hedekel 2/15, Jerusalem 94324

БУКВОМАТ АКРОБАТИКИ, или О ПОРОДЕ ЛЕЩЕЙ*

Люди моего поколения (старики вообще-то) по-прежнему думают, что литература – дело публичное: писатель пописывает, читатель почитывает; и то же с искусством: у художника, мол, зритель, у музыканта слушатель, у актера публика. Не хочется нам замечать, что публике то и дело дает сиську масс-культура, а тем и не надо ничего сверх. Есть мастерские, исследовательские лаборатории художества. Производимое в них то и дело выхватывается масс-культурой: частями, которые скорее всего „пойдут“ на рынке, если довести до ума. Художнику на это чихать, он своим занят, для него публика – он сам и коллеги-оценщики. Человечество, похоже, недостойно быть адресатом художества. Этакие йеху.

– А я, художник, и сам йеху, но вас это не касается. Я – еще что-то, кроме бурдюка с дерьмом: вот, глядите, что я сотворил, вам ни повторить, ни даже понять.

(Вещь, которую трудно понять, заведомо лучше той, которую удается понять сходу, – это уже почти аксиома.)

Художество стало ремеслом в себе. Много вы уразумеете из разговора и действий двух хирургов во время операции? Или не хирургов – часовщиков? Ювелиров? Художники далеки от нас, как физики-ядерщики или молекулярные биологи. Что-то мудрят в своих НИИ, а в итоге – то ли супербомба, то ли бактериологическое оружие, то ли серия овечек или людей-двойников (клонирование). Скажете: разница! В колбах искусства бурлит, по крайней мере, безвредное... Не убедили.

* Выражения из альманаха, о котором пойдет речь.

Еще никто всерьез не исследовал духовную связь футуризма с фашизмом-коммунизмом, а постмодернизма – с терроризмом как легитимным модусом жизни. Но искусство, как и наука, неподсудно. Разум идет, куда хочет, его право. Целостность экзистенции, выраженная в объектах-символах (включая элементы речи), тоже имеет это право. Классно передавая наслаждение убийством, вы так же правы, как описывая богоугодные дела или доблестного человека. Вообще, неважно, наслаждение „чем“ передается. Источник наслаждения в искусстве – игра, перестановка, стирание, изобретение ФОРМ, и неважно, по какому поводу. Еще Лорка (до „пост“) стихотворствовал так: *«В воздухе расцветали черные розы выстрелов»*. (По слухам, он страшно маялся перед тем, как одной из таких роз предстояло расцвести напротив его лба, но это к делу не относится.)

В силу сказанного мне ли писать „рецензию“ на вышедший недавно в Иерусалиме литературно-художественный альманах „Симург“ (составители Евгений Гельфанд и Евгений Сошкин)? Не мне: я в этот НИИ допуска не имею, вахтер за турникет не пропустит. Я лишь читатель, говорящий другим читателям: „Слушай, тут я прочел недавно...“

– *Слушай, тут я прочел недавно альманах «Симург»*. Что тебе сказать... Он из двух частей, вторая часть – серия интервью, начну с них. Ей-Богу, интересно.

Как искушен и мудр Исраэль Малер. Как мужествен и самобытен Тарасов, подводящий черту под поисками двух десятилетий. И что за прелесть Генделев, когда не ерничает, Каганская, когда не возвещает, когда она без инвектив и директив. Как завораживает ясность мысли Бокштейна, когда он в разговоре, а не в занудном графоманстве – с проблесками (известно) гениальности. Вот люди! А Гробман – в позе памятника самому себе? За подаренное свидетельство обширности и глубины познаний, за ощущение ускользающей от анализа неисчерпаемой творческой потенции – не простишь ли преувеличенную уверенность в значении того, что он написал и нарисовал?

Или, возвращаясь к Генделеву... Он полагает, что в разработанной им „бабочке“ (способ записывания строк, строф) слово ассоциативно стреляет вверх-вниз, оставляя треки, а не только по горизонтали, как в обычном стихе. Пусть нам так не кажется, но ведь сам замах каков! И не искупается ли неудобство от знания истины (перепиши „бабочку“ обычным способом – и

стихи зачастую жидковаты; а с другой стороны, крепкие гёнделевские стихи и без „бабочки“ хорошо стоят, и слова в них в разные стороны стреляют); не искупается ли, повторяю, это неудобство умными, точными его суждениями об индивидуальном (а не по-российски литературно-коллективном, если угодно – „стадном“) столкновении поэта в Израиле с десигнатом слова – с неупотребленной реальностью, включая реальность мистическую, иудейскую.

(Тут приходит в голову: благо, что Гёнделев по-русски пишет; родился он здесь и говори он по-местному, принял бы он всю эту реальность через местную „стадность“, и трудно было бы ему от нее отделаться.)

...Нет, не передашь всего в коротком отклике. *Очень советую прочесть.* Поднимает настроение: не слабые у нас современники-соотечественники. Глупо недооценивать. А переоценить – не грех.

И хвала интервьюеру (-рам?): ему во многом принадлежит заслуга хорошего текста. Примечательно, что его вопросы подчас кажутся интервьюируемым то ли наивными, то ли даже дурацкими – и вот тогда, на сдерживаемой раздраженной ноте, начинается настоящий разговор.

Что же до первого раздела (стихи, проза, малоотличимая от стихов по методу письма), то и это затягивает, хотя и по-иному. Не стоит отбрасывать книжку после нескольких страниц невнятицы. Поначалу покажется, что почти все авторы шагают проторенным (в клинике, но еще не в литературе) шизофреническим путем: алогизмы с аграмматизмами сделались опорой поэтики. Раздражает; видишь, что тебе предлагается додумывать объективно не существующие смыслы (субъективно у авторов что-то там, конечно, припрятано по принципу матрешек в матрешках); смешит, наконец, даже когда сочинитель не предполагал рассмешить. Но вот самое интересное: когда от ловко сконструированной галиматьи тебе предлагается переход к отрывкам нешизофренического засола (и такие есть), ловишь себя на том, что – скучно! Даже неловко за себя становится. Так неловко чувствует себя телезритель, который после порнофильма переключается на какую-нибудь задушевную драму и ловит себя на том, что „этого уже не надо“, и стыдится, что пал так низко.

Это я не к тому, что в сочинениях альманаха шибает в нос эротика, – вовсе нет, все в меру, да и не бывает в этих НИИ

эротика как таковой, а только символическая и ироническая. Я о другом: после созерцания разврата (типа садистической педофилии), производимого с фразой и словом твоего родного языка, тебе зевается от чинных и кокетничающих шеренг под названием „поэзия“ или „проза“,

Видимо, Вл. Тарасов не вполне прав, и дурашливое разложение речи на внесмысловые вспышки обезьяньего Эго еще не дошло до упора. Есть, есть еще что порушить – „могуч великий русский язык“, – есть еще что перекрутить; от перекрута слово пружиной распрямляется и бьет в лоб; этим еще потешатся не год, не два.

И не спросишь „зачем“ (стыдно: некультурный? литпроцесса не понимаешь?). А все же... Ну, если взять мэтра Савелия Гринберга, так он же палиндромист. У него несуразица искупается ловкостью трюка: „Манекена манекенам / Табор катит Акробат / А не мере перемена / Дар тоски и икс отрад“; „Яром у моря / Яра Змеем Заря / Яром утро Парусу рапорт у моря...“ – и так далее, сколько влезет. Сочинитель относится к редкому (как люди с фотографической памятью) типу одинаково легко читающих слова спереди назад и сзади наперед; это у него темная область коры необычно устроена. У всех остальных цирковой фокус (клоунада?) в другом: в том, чтоб ляпнуть ни в какие ворота не лезущее, зато наверняка запоминающееся.

Есть, правда, в этой методологии определенный минус: очень уж трудноотличимы друг от друга производители вспышек Эго. Возьмем наугад несколько выдержек из стихов альманаха.

Надсадно яркое о маленькое душно

.....
*Он управляет города, заправив маслом
пустой толпы*

.....
*Какивы памяти
на глаз на цвет на звук
иссякиши красоты неземные*

.....
*вб-
заполонил все, то рдеет дерзит
ордердар к – литера правь – див*

.....

*Итак верь
тень синего переплета*
.....
*грязном городе оным спаяны
два непарные полусна*
.....
Этим стань меня, где почию

Не подумайте, что я злонамеренно вырвал строчки из синтаксически усложненного, но принципиально постижимого контекста. Сейчас так пишут („сейчас так носят“). Угадайте, кто какой отрывок написал: Петя Птах? Евгений Сошкин? Анна Горенко?* Денис Соболев? Угадать трудно, но можно: если применить специальные (профессиональные) приемы идентификации автора по лексико-стилистическим приметам, исходя из авторского тезауруса.

Но тут начинаешь думать: ведь и это неважно. Разве поэт, отдельный человек с его внутренним миром, – предмет искусства? Предмет искусства – это предмет, на котором показано искусство. Возьмите камень, расколите. Возьмите морковку, отгрызите. Возьмите сочетание слов, развалите до бессмыслицы (так вам, гумбольдты проклятые!). И если еще никто так камень не раскалывал, морковку не отгрызал и язык не деформировал, вот вам и факт искусства. А потом знаменитость обнаружится. Ходил малый, отгрызал морковку за морковкой; поглядели – батюшки, всякий раз особенно как-то, небывало как-то он это делает, вот и художник объявился. Его „внутренний мир“ – не ваше дело, ваше дело – неповторимый след его зубов на моркови.

Впрочем, никто вас читать не заставляет. Никто даже не предлагает, раз вам не по душе „буквомат акробатики“. Но если вы все еще листаете альманах, местами возникнет сильное душевное волнение, которое никакими коннотациями и ображениями не объяснить. Сквозь весь этот цирк прорвется вдруг духовность: то мрачная до испуга, то хрипящая в клинической смерти, то в нестерпимом блеске иронии, то детски-улыбчивая, нежная, то нарочно выпачканная дерьмом.

* Кроме шуток. Живет такая поэтесса в Израиле (либо так называет себя).

Право, когда в книге стихотворений (в том числе – стихотворений в прозе) есть одно, которое трудно выбросить из головы, – это уже много. А здесь их с дюжину, что, пожалуй, грандиозно. Иногда, конечно, восстает оскорбленный вкус.“ – А не нужно нас ни о чем просить, – карикатурой вызверился бас, растеряв окончательно лаковый слой манжетного аристократизма“. По моему, это плохая литература. При любой погоде. Или, когда поэт преподносит такую строку: „многовенчательны, многовещательны“. Он дискредитирует себя (а жаль, интересный поэт): рыбкой клюет на блесну.

Скажу об одном интересном поэте, о Сошкине. Года два назад я влюбился в его стихи, попросил подборку (для „22“ – жаль, не взяли) и написал о нем так.

СТИХИ ЕВГЕНИЯ СОШКИНА держатся на чуде. Классическая высокопарность интонации без тени иронии, без намека на цитирование; книжно-литературный, порой архаический словарь с причудливым коллажированием поэтических штампов; несопоставимость текста с реалиями, в которых обретает себя современный читатель, – все это воспринималось бы как версификаторская игра, в лучшем случае забавная, если бы не ощущение недюжинной поэтической энергии, излучаемой сочинениями молодого поэта. Эманация этой энергии и есть, очевидно, истинное содержание сочинений, так что много содержания искать в них не приходится. Впрочем, желающий может усмотреть здесь описания природы, выражение неординарных внутренних состояний пишущего и т.п. Но, поняв, что найденная автором манера «иноговорения» и есть тот единственный канал, через который его энергия выявляет себя как физический феномен, начинаешь с уважением относиться ко всему, что поначалу показалось предметом для пародии.

Я вижу Евгения Сошкина одиноким альпинистом, поднимающимся на горный пик по маршруту, который никто до него не опробовал; он метит в первопроходцы в культуре русского поэтического слова; и, как часто бывает с очень одаренными людьми, путь, им намеченный, слишком уникален, чтобы кто-нибудь еще захотел его повторить. Первопроходец здесь и последне-проходец. Остается удивиться тому, что на сплошь затоптанном следами снежном поле русского стиха отыскались нетронутые участки, на которые ставит отпечаток своего ботинка некто, чье имя,

возможно, останется в истории стихосложения на русском языке.

Будучи уже несколько лет жителем Израиля, Е. Сошкин фактически не отреагировал ни на географическую, ни на метафизическую перемену места. И это легко понять: его «место» располагается не на нашей карте, а на той, где в качестве крупнейших «населенный пунктов» выступают Державин, Велимир Хлебников и Арсений Тарковский, Тютчев, Николай Заболоцкий и Иосиф Бродский; словом, это мир поэзии, некий летучий остров, где гремит, звенит и бормочет русский стих; остров, которому безразлично, над каким континентом зависнуть.

Разумеется, стихотворное чудо, о котором только что сказано, вряд ли разглядишь сквозь оценивающий текст; для подборки из „прежнего“ Сошкина в рамках этой заметки нет ни места, ни смысла; вырвать фрагмент из той его подборки – значит умертвить органическое целое; читателю предлагается верить мне на слово...

Нынешний Сошкин (из „Симурга“) – угрюмый, горький, битый, мятый, что ли, – несомненно пронзает, но мне жаль, что он повернулся спиной к собственной поэтике, ищет неблагозвучия и речевых распадов. Он растет, ему виднее, куда двигаться, он и сейчас глубже и окаяннее большинства других, но обидно, что он выглядит „одним из них“, а ведь виделся чрезвычайно самим по себе.

– *Слушай, я тут прочел недавно альманах «Симург»...* Хорошо, что он вышел. Создаваемая им картинка такова: есть роща мощных и все еще шумливых деревьев – литераторы прежней алии; перед ними топорщится свежей зеленью подлесок, и он обещает вырасти в еще более внушительную рощу. Не стоит только привязываться к географии: рощи этого рода стоят кучно в метафизическом пространстве русской словесности, а не на отведенных дунамах или там акрах. Как ни странно, хочется сказать спасибо земле Израиля за то, что она не „съела“ этих своих сыновей. Или, скорее, пасынков. Тем более – спасибо.

Евгений Сошкин

* * *

Покуда в корчах тлел исподний сор
и ветром распыляемое пламя
тянуло соки из древесных пор
и срубленными пухло куполами
над язвами земной коры,
пока лепились белые пары
по руслам обмелевших рек, чьи мели
к песку хребтами прикипели, -
бельма закатного сургуч
спаял земли сухое лоно
с такой же створкой небосклона,
затоптанной стадами туч.
И дунул тьмой больных трахей,
предавшись грусти незнакомой,
и выдул сивый суховей
слюну из дудки тростниковой,
чья жалоба тому виной,
что почернел лицом бескровным
и краску шепотом нескромным
прогнал со сферы наливной.

* * *

1

С заочным сном бессоницы помолвка
взлелеяла безумья первый плод,
до дна провисший синий сумасвод
подставив солнцу мелкого помола,
что между приступами синевы
искало затеряться, плод безумья,
в обметанных бурунами зазубрин
коленипреклонениях травы.

2

Законодатель этих мест, навьючив
окрестность мглою, щелкнул соловей,
явившийся в собрании ветвей
предчувствием костра и треска сучьев
и приглашением по склону дня
подняться на террасу, где стемнело,
с валежником и, став за выступ неба,
поддерживать агонию огня.

3

В экстазе лицедейства дым на сырость
кивнул и сырость сообщил глазам
но облаком, вобравшим их бальзам,
душа не в эмпиреи возносилась,
а до свету спасалась на реке,
в молочных испареньях по затинам,
а там и заводь диапозитивом
зажглась, и сон повис на волоске.

КРИТ

Нас видели на Крите, это где
всю жизнь орлы парят над головою
и гнезда вьют у Зевса в бороде.
Мы пили красное, входили в голубое,
а то, соединяясь на камнях,
пока светило сожигало воду,
смыкали две улыбки второпях.
Мы приходили в близкое селенье,
нам ветерок про суп из черепах
нашептывал, нам сумерки синели
извне в окно харчевни, нам питье
с каждым глотком искрилось веселее,
попутно преломляя острие
ножа для резки хлеба в змейках трещин
по черенку, под пенистой струей
стаканы звоном наполнились при встрече,
шло время, но быстрее, чем время шло,
темнело, и хмелели мы быстрее, чем
темнело. Но и время ремесло
свое любило пешее. Снаружи,
претуго скрученный морским узлом,
роптал наушник-ветерок, и вчуже
внимали кипарисы. Шум вина,
литаврами увенчивая ужин,
проваживал нас в ночь, где ночь полна
цикад и треск стоит, как если в звездах
контакт нарушен. Так веретена
язык царевне с профилем из воска
был внятн, донося, что жив Тезей,
что мертв ужасный брат, сей пленник мозга
Дедалова, его кривых стезей.
И вот, пока мы загребали гравий
сандальями, а месяц-ротозей,
щербатостью напоминая крабий
протез, дичайший камень, как берилл,

цвети заставил тысячею граней, –
секретным ультравоплям субмарин
гряды прибоя вторили картаво
и множил вездесущий лабиринт,
где все дороги - к зеву Минотавра.

* * *

А та, что весеннюю слякоть
сидит проклиная в дому,
и губ шелковистую мякоть
протягивает (кому?),

и зыбь шампиньоновых кружев
ногой попирает в носке,
вниманием не удосужив
вселенную на волоске

от гибели (город не обжит,
и снег каруселью идет -
ужели по-прежнему ропщет
на вечный его недолет?), -

она утопила восторги
в рассоле целебных ключей
и шумно захлопнула створки
моллюска, где жил книгочей,

и с чувством напрасной потери
смотрела, не видя, в окно,
глотала „Кровавую Мэри“,
сажала на джинсы пятно,

и жирный оливковый бисер
сбирала в передник с чела,
и ножницами в телевизор
бросала, и с чортом спала.

А кто-нибудь, по перламутру
царапая ржавым гвоздем,
ночами зубрил „Камасутру“
в моллюске своем заводном

и думал, согласно кивая,
что встретится с нею в году
таком-то. Случайно. В трамвае.
В кафе. В лесопарке. В аду.

* * *

Лавочки прогорели.
Лавочки, спасаясь от кредиторов,
далеко не ушли,
но устроились пугать ворон
где-нибудь за чертой
города.
Обертки от жвачек и прочее в этом роде
истлело под снегом или же отошло
с вешними водами.
Стало намного чище.
Лишенная возможности торговать собой,
молодежь любила и калечила бескорыстно
Отроки растягивали самокрутки,
сочиняли верлибры на голодный жедудок
и хотели нечистой ласки.
Отроковицы
перешивали обноски
и чуть ли не занавески,
читали ямбы напамять,
ели таблетки,
выбрасывались из окон,
беременели
и ничего не умели делать.

Он состарился в Харькове.
Всякий раз,
проходя по улице имени друга детства,
находил он копейку и две, а лицо
сияло верой в собачью смерть
инкогнито.

Виктор Голков
„ПО ТУ СТОРОНУ СУДЬБЫ“
(стихи)

Тель-Авив, 1996 г.

Цена – 10 шек.

Заказы принимаются по адресу:
Израиль, Азур, ул. Ицхак Саде, 6, кв. 1

Нина Воронель

Ведьма и **П**арашютист

(роман)

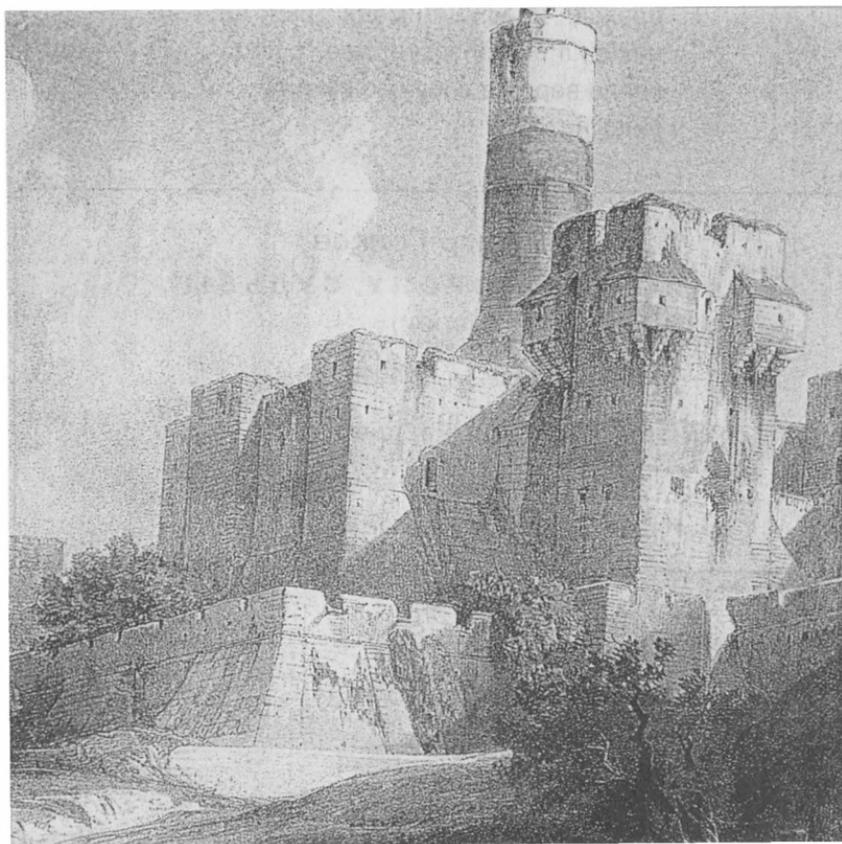
Хотите ли вы опять, как в детстве, испытать захватывающее чувство вовлеченности в чужую жизнь? Израильский парашютист, роковая женщина, таинственный злодей, средневековый замок, европейская интеллектуальная элита... и убийство.

„МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ“, Р.О.В. 44050, Tel-Aviv 61440

Цена: 39 изр. шек.

(19 DM для Европы, \$15.5 для США, включая пересылку).

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ



Константин Фрумкин

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ СВЯТОГО ГОРОДА

Когда есть угроза потерять какой-либо предмет, начинаешь задумываться о его ценности. Когда на политическом горизонте опять возник призрак возобновления переговоров о разделе

Иерусалима, когда Израиль встал перед угрозой его, по крайней мере частичной, потери, выявляются, выходят на свет скрытый за повседневностью, но известный любому факт, что Иерусалим - это не просто „урбанизированная территория“, не просто один из городов, и потеря его - не просто потеря. Однако, хотя это более чем известно, особенность Иерусалима по сравнению со всеми остальными городами мира, чувства, испытываемые по отношению к нему евреями еще требуют внимательного анализа. Ибо очевидное, как правило, плохо сформулировано, и хорошо известное иногда понятно менее четко, чем малоизвестное.

В упрощенном изложении легенда о Иерусалиме звучит примерно так: когда-то евреи были изгнаны из него, тысячелетия пытались его вернуть (и сами туда вернуться) и теперь постепенно исполнили свою мечту. Любой, хотя бы поверхностно знакомый с фактами истории, знает, что это не совсем так. Рассеяние евреев по миру началось задолго до эксцессов с римскими властями. Да и в Палестину евреи пришли изрядно наскитавшись по миру, рекошетом вернувшись в нее из Египта. И в Иерусалим они пришли как завоеватели, тысячелетия без перерыва евреи меняли свое местожительство в разных направлениях. Они легко приживались в чужих странах, с легкостью забывая родной язык - отсюда такое обилие языков, на которых написаны классические еврейские книги - арамейский, греческий, ладино, идиш - это не считая собственно национальных языков стран проживания. Евреи на протяжении веков постоянно уезжали из Иерусалима, кое-кто возвращался, многие имели возможность вернуться, но не делали этого, хотя отнюдь не чурались смены гражданства. Из Германии в Польшу, из Польши - в Россию. Из Испании - в Турцию, из Турции - в Америку, из Персии - в Бухару, из Бухары - в Китай.

Помню, был скандал на страницах „Вестей“. Некто сравнил евреев с цыганами. Немедленно возмущился известный пропагандист иудаизма Гедеон Бродский: как это можно сравнивать, народ Книги - и какие-то „карточные гадалщики“. Однако, при всем различии между картами и Торой, сравнение все же напрашивается, и периодически возникает в литературе. Есть два главных пункта сходства: территориальная рассеянность и фактическое (или кажущееся) отсутствие родины - и одновременно упорное сохранение этнической самобытности, происходящее вопреки этому рассеянию, причем сокращение столь

упорное, что евреи и цыгане оказываются более специфичными народами, чем те, среди которых они живут; более специфичными, чем обычные народы.

Собственно, постоянная смена места жительства - удел всех народов мира. Но евреи делают это гораздо быстрее большинства из них, хотя и медленнее, чем собственно кочевые народы. По скорости перемещения по лицу земли евреи занимают как раз промежуточное положение между народами оседлыми и кочевыми, опять не попадая ни в одну из массовых категорий, оставаясь чужими и тем и этим.

Вековой процесс отъезда из Иерусалима, возврата или невозврата туда, перемещений мимо - нельзя связывать с иудейскими войнами Рима, ибо во временном протяжении эти войны ничтожны по сравнению с неостановимым еврейским движением. Ни одно препятствие этому движению не смогло его пережить - будь то римский запрет евреям селиться в Иерусалиме, или железный занавес, возведенный вокруг российских евреев на жалкие 40-50 лет. Так что же значит „вернуть Иерусалим“? Как можно вернуть родину кочевому народу? Если его родина - странствие?

Речь идет о возвращении обязательного пункта, ключевого узла странствий. Эта точка задает всем странствиям координаты, превращая их из простого движения „куда глаза глядят“ либо в покидание, либо в возвращение. Скитания оказываются точно ориентированными, осмысленными и наполненными экспрессией. Вместо плавания в невесомости - полет в пространстве, где есть направления „вверх“ и „вниз“, и, соответственно, есть подъем и спуск, „алия“ и „ерида“. Обладание Иерусалимом не останавливает бесконечные скитания евреев по миру, но придает каждому из фрагментов этих странствий определенный знак - „плюс“ или „минус“.

Если продолжить это сравнение с понятиями верха и низа, то можно сказать, что провозглашая свой вечный новогодний тост „В следующем году в Иерусалиме“ евреи как бы, кроме обычной силы тяготения, испытывают на себе еще и свою собственную гравитацию, которая тянет их вверх, в сторону противоположную обычной.

Если вспомнить, что стержнем всей еврейской культуры был культ своей сакральной истории и сакральной географии, то можно сказать, что эта тяга есть тяга еврейской духовности,

вырывающая инородное еврейское тело из круговорота веществ галутной материи, которая давно бы абсорбировала и слила с собой еврейство, если бы не эта направленная на Иерусалим антигравитация.

Ведь верх и низ - это не просто голова и ноги человека. Это и закрепленные мировой культурой знаки Материи и Духа. Стремление к духовному всегда метафорически или мифологически связывалось с парением, полетом, попыткой достичь небес, верха. „Стремилась ввысь душа твоя“, - поет Высоцкий. Противоположность - идеи приземленности, падения, низости как противоположности возвышенному. Таким образом, дух движется вверх, а материя - вниз.

И Иерусалим - еврейский зенит, направление высоты. Он указывает, где верх. Недаром же христианство переработало это еврейское чувство к городу в свой собственный образ Небесного Иерусалима.

Конечно, меньше всего нам хотелось бы, в подражание некоторым ультраортодоксальным евреям, сказать, что лишь евреи духовны, а все прочие окружающие их народы материальны. Но дело в том, что говоря так, правоверные иудеи правы со своей позиции, ибо, действительно, иудейские духовные координаты обратны всем прочим, в них низ - там, где верх. Здесь уместно вспомнить старую алхимическую идею, что земля полая изнутри, и на внутренней поверхности земли живут антиподы людей, для которых низ - там, где на земле обычных людей - верх. Можно представить себе, что в своих идеалах евреи живут на внутренней поверхности небесной тверди. Они падают туда, куда люди земли пытаются лететь - и наоборот, направление к земле для них неестественно, требует левитации. На небесной тверди высится Иерусалим - небесный для языков земли, земной для евреев. Галутные же евреи ходят по обычной земле, подчиняются обычному ньютоновскому притяжению - но редко, раз в год, все же чувствуют на себе антигравитацию к поверхности небесной тверди.

Так или иначе, но битва за Иерусалим - битва за точку отсчета, за полюс еврейской карты, за полярную звезду еврейского неба. Так сказочные существа хантифнаты в сказке Туве Янсон бьются за барометр - таинственную вешку, от которой они каждый год начинают свои бессмысленные странствия, и куда к концу года они возвращаются. Хантифнаты становятся

поистине грозными существами, когда у них пытаются отнять их барометр, они начинают впитывать молнии и ударять свято-татца током...

А ведь что, в конце концов, объединяет евреев, кроме системы координат? Не кровь в строго генетическом смысле слова, ибо евреи принадлежат к разным антропологическим типам. Не религия, ибо есть светские евреи и евреи, принадлежащие к иным религиям. Не культура, ибо в галуте нет единой еврейской культуры. Но есть еврейская судьба, ибо в путях любого народа еврей идет не вполне по общему маршруту - у него свой полюс, свой компас.

В вопросе о разделе Иерусалима так называемые левые видят в нем просто территорию, ультраправые же, не рассуждая, принимают единство Иерусалима как одиннадцатую божественную заповедь. Но есть интеллектуальные религиозные сионисты, которые видят в разделе Иерусалима именно опасность для общеврейской системы координат. Расщепится вешка, раздробится полюс. Так, путешественник может сбиться с пути, забыв, что есть географический полюс, а стрелка компаса показывает на полюс магнитный.

С другой стороны, борьба за единство полюса не обязательно предполагает лозунг „Все на полюс!“. Израильские публицисты часто жалуются, что для многих современных репатриантов Иерусалим - лишь перевалочный пункт по дороге в Мюнхен или Нью-Йорк. Но, странствуя, эти последние лишь доказывают свое еврейство. Ревнителям стоит сожалеть не о маршруте, а о чувстве странствующих - понимают ли те, что Иерусалим - это не просто транзитная станция, а конец одного цикла странствий и начало нового? Относятся ли они к перемещению в Нью-Йорк через Иерусалим не как „были проездом“, а как „вернулись и опять покинули“? Понимают ли они, что маршрут их не ровный, а имеет подъем, точку апогея и последующий спуск?

При этом: чувство разлуки важнее радости возврата.

Чтобы чувствовать на себе силу притяжения, надо быть на расстоянии от того, что притягивает. Это доказывают стандартные свидетельства всех репатриантов: в стране исхода я чувствовал себя евреем, на исторической родине чувство крови куда-то испарилось. Вблизи нет того, что на языке физики назовем тяготением, а на языке эмоций - чувством утраты.

А это чувство - ключ еврейского отношения к Иерусалиму.

Воинствующие религиозные радикалы своей неспособностью быть лояльными к римским властям довели еврейское государство до гибели и еврейский народ - до утраты Иерусалима. Но только они сохранили представление об Иерусалиме как о сакральной ценности, и только благодаря наличию в еврействе стержня из прослойки религиозных энтузиастов, в нем сохранилось стремление вернуться в Иерусалим, реализовавшееся в наши дни.

По мнению израильских левых, жесткая политика религиозных кругов может и сегодня обернуться для Израиля тяжелыми потерями, в частности и в связи с Иерусалимом. То есть истинную ценность Иерусалим представляет собой для тех, кто много и интенсивно борется за то, чтобы его потерять. Воля и энергия, необходимые для возврата Иерусалима есть только у того, через чьи пальцы Иерусалим уходит как вода. Талант к возврату Иерусалима приходит только и только вместе с талантом к его потере, это две стороны одного исторического гения, одной исторической миссии.

Не есть ли понятие утраты - тот корень, из которого растет и ценность и святость святого города? Чувство ценности Иерусалима - проецируемое чувство тоски по утраченному. Тысячелетия ностальгической тоски, тысячелетия новогодних тостов „В следующем году в Иерусалиме!“ - этот тост звучал даже тогда, когда для возврата не было никаких административных препятствий! Эти тысячелетия отковали особое религиозное отношение к городу-символу как к невосполнимой потере - и это чувство стало ценным само по себе, оно стало содержательнее всех связанных с городом легенд - тем более, что в иудаизме, религии абстрактного бога, нет святых мест, к которым стоит привязываться сердцем. И теперь наличный у Израиля Иерусалим, интересен, как предмет утраты - потенциальной утраты, прошлой утраты, вечной утраты.

Иерусалим - это потеря, которая всегда с тобой.

Главнейшая еврейская святыня Иерусалима - т.н. стена плача, т.е. западная стена когда-то разрушенного храма. Это - послушайте раввинов - ни в коем случае ни замена храму, ни маленький храм, вообще не святыня в строго богословском смысле. После всех этих отрицаний - что остается от смысла этой стены? Она лишь напоминает о том, чего нет. Стена оказы-

вается свидетельством утраченности храма. Придя к стене плача, еврей попадает в позицию, в которой с наибольшей рельефностью проявляется отсутствие у него его Храма. Стена плача - это точка, *из которой Храма в наибольшей степени нет.*

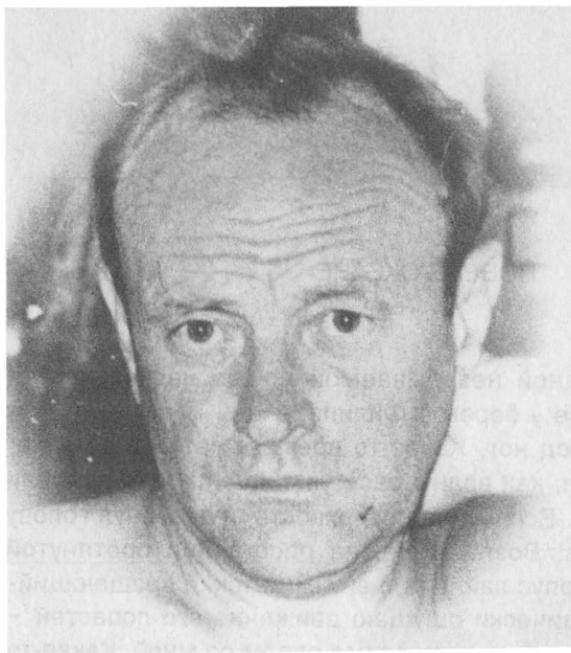
По русской летописной легенде к Великому князю Владимиру, выбиравшему религию, пришли евреи уговаривать переходить в свою веру, утверждая, что они избранный богом народ. Избранность же эта заключается, может быть, прежде всего в том, что Бог обещал им землю, ставшую именно поэтому называться обетованной. Владимир же спросил их: „Так где же ваша земля?“ Евреи ответили: „Бог на нас прогневался, и передал ее в руки неверных“. После такого парадокса вопрос об обрезании Руси был исчерпан. Для тех примитивных времен было невозможно переварить столь тонкое диалектическое положение, что божественная обещанность той земли заключается именно в ее потере. Другие народы, пребывавшие на своих территориях в силу исторической случайности, а не высшего предназначения - они своих земель не теряли. Как сказал Иегуда Галеви, „как ни стараются языческие народы служить Б-гу, он им не является, и как ни грешат они - он их не карает“. Далее он пишет, что другие народы зависят в своей исторической судьбе от случайных причин: численности, сплоченности и прочего, евреи же зависят только от судьбы своего Храма. А храм этот существует ныне только через свою стену, которая - лишь знак утраченного. И сохранилась она как бы специально, предусмотренная великим тайным замыслом напоминать об утраченном.

Потеря сначала тяготела на еврействе, как обратная сторона избранности, а затем диффузно сплавилась с ней, стала просто ее синонимом.

Первоначально сила ностальгии по Иерусалиму объяснялась тем простым психологическим фактом, что потерянное всегда начинаешь ценить больше, чем ценил его, когда им обладал. Но тысячелетия интенсивнейшей тоски сделали свое дело - потеря стала важнее вещи, а чувство потери стало важнее всего. Чувство утраты стало той субстанцией, тем материалом, из которого ныне изготовлено чувство святости Иерусалима.

Теперь, когда Иерусалим принадлежит Израилю, - как объяснить, как сформулировать амбивалентное чувство евреев к нему?

ЧЕЛОВЕК В НЕОСВОЕННОМ МИРЕ



Слава Курилов прожил несколько лет в Канаде, прежде чем приехал в Израиль. Он приехал к нам в гости, но полюбил эту страну, и его здесь тоже полюбили. Он остался здесь навсегда. Его путь в Израиль совсем нетипичен, но может послужить символом для характеристики Исхода 70-х годов как уникального события, свершившегося вопреки и несмотря.

В январе Слава спустился на дно Кинерета в составе водолазной команды. Под водой ему стало плохо и, поднявшись на поверхность, он умер на руках у товарищей. Публикацией его мемуара во главе этой подборки мы хотели бы попрощаться с другом.

ПОБЕГ В ОКЕАНЕ

Это случилось одной незабываемой ночью несколько лет назад в Тихом океане у берегов Филиппин...

Палуба ушла из-под ног. Какое-то время я летел в воздухе, пока не почувствовал, как волны расступились и мягко приняли меня в свои объятия. Всплыв на поверхность, я повернул голову и... замер от страха. Возле меня, на расстоянии протянутой руки – громадный корпус лайнера и его гигантский вращающийся винт! Я почти физически ощущаю движение его лопастей – они безжалостно рассекают воду прямо рядом со мной. Какая-то неумолимая сила подтягивает меня ближе и ближе... Я делаю отчаянные усилия, пытаюсь отплыть в сторону – и увязаю в плотной массе стоячей воды, сцепленной мертвой хваткой с винтом. Мне кажется, что лайнер внезапно остановился – а ведь лишь несколько мгновений назад он шел со скоростью 18 узлов! Через мое тело проходят устрашающие вибрации адского шума, звуковые волны которого медленно и неумолимо пытаются столкнуть меня в черную пропасть. Я отчетливо ощущаю ритм вращающегося винта на общем фоне этого чудовищного грохота. Винт кажется мне одушевленным – у него злорадно улыбающееся лицо, меня крепко держат его невидимые руки... Внезапно что-то швыряет меня в сторону, и я стремительно лечу в разверзшуюся пропасть...

Я попал в сильную струю воды справа от винта, и меня отбросило в сторону. Стало очень тихо. После лязга железа и отвратительных вибраций корпуса шум рушащихся гребней волн и завывание ветра показались мне нежнейшими звуками. Лайнер стал быстро удаляться, я чувствовал огромное облегче-

ние – ведь я только что ушел живым и невредимым от этого страшного вращающегося винта.

Человек не может одновременно воспринимать несколько опасностей, они обычно неразличимы в момент страха и набрасываются на него по очереди.

Я все еще не осознал что произошло, – в последний день перед побегом мое внимание было направлено совсем на другие вещи. И вот теперь, наконец, я начинаю видеть мир не глазами пассажира советского лайнера, а глазами потерпевшего „кораблекрушение“ по доброй воле.

Огни лайнера все удалялись. И я, наконец, полностью осознал, что я совершенно один в океане. Помощи ждать неоткуда. И у меня почти нет шансов добраться до берега живым.

Но в этот момент мой разум философски заметил: „Зато теперь ты абсолютно свободен!“ Разве не этого ты так страстно хотел?“

* * *

Помню улицу в маленьком провинциальном городке, дом и комнату, где я обычно сидел за столом и неохотно выполнял школьные задания. За окном, через улицу – высокий серый забор. Я всегда видел его, когда поднимал голову и отвлекался от книг. Я ненавидел этот забор. Он был как бы символом всех препятствий, стоящих между мной и моими мучительными желаниями. Иногда мне удавалось смыть его усилием воли. Я мысленно представлял себе большие океанские волны. Накатываясь на забор, они постепенно смывали его начисто. Передо мной открывались неведомые дали – тихие лагуны тропических островов с пальмами на берегу, одинокий парусник вдали у горизонта и необъятный простор океана... Но когда я уставал мечтать и приходил в себя, я видел перед собой снова неумолимый серый забор...

В тот день, когда мне уже в который раз отказали в визе для работы на океанографических судах дальнего плавания, мое терпение пришло к концу.

Обычно мне отказывали без указания причин. На этот раз в моем личном деле была приписка-приговор: „Товарищу Курилову, посещение капиталистических государств считать нецелесообразным“.

Все во мне взвилось на дыбы – пожизненное заключение в стране рабов! Выход был только один – бежать.

Я почувствовал себя изгнанником и... стал внутренне свободным.

Я жил в государстве, где все люди были скованы одной гигантской невидимой цепью – некой идеологией, больше похожей на заклятие злого волшебника.

Я видел страх в людях – в их глазах, в их позах, в манере разговаривать, прислушиваясь и оглядываясь.

Страшно видеть миллионы здоровых, сильных мужчин, подавленных постоянным страхом, – страшно жить среди них.

Случай не замедлил представиться.

В один грустный, пасмурный день прочел в газете объявление, что большой пассажирский лайнер идет к экватору с туристами на борту. Никаких виз не требовалось; в течение двадцати дней лайнер будет находиться в открытом океане без заходов в иностранные порты. Круиз назывался „Из зимы в лето“, место сбора туристов – Владивосток.

Шел ноябрь 1974 года.

Наш самолет делал короткие остановки в Иркутске, Красноярске и Хабаровске. Холодный, пронизывающий ветер при сорокаградусном морозе. Все вокруг казалось безжизненным и унылым, как на заброшенной планете. Люди закутаны с ног до головы, лиц нельзя различить, походка какая-то неестественная – все стараются поворачиваться спиной к ветру, сжаться в комок. Можно ужаснуться от одной мысли – жить здесь годами.

Похоже, люди здесь и не живут, а выживают после какой-то катастрофы, когда эта планета подверглась оледенению, потеряв свою былую красоту. И только время от времени пролетают мимо случайные космические корабли.

Во Владивостоке было заметно теплее. Мы прибыли с небольшим опозданием – более тысячи туристов из разных городов страны уже находились на судне. Отход лайнера был назначен на 7 декабря.

Пассажирский лайнер „Советский Союз“ стоял в бухте с романтическим названием „Золотой Рог“ и был виден издалека. Меньше всего он был приспособлен для побегов – как хорошая добротная тюрьма. Линия борта шла от палубы не по прямой вниз, как у всех судов, а плавно закруглялась в противоположную от корпуса сторону. Если кто и вывалится за борт, то упадет не

в воду, а на округлость борта. Все иллюминаторы поворачивались на диаметральной оси, разделявшей круглое отверстие на две части. Обычно на всех судах всегда легко пролезть в иллюминатор, но это полукруглое отверстие годилось разве только для годовалого ребенка! Чуть ниже ватерлинии по обе стороны судна, от носа и до кормы, были приварены металлические крыльья, более метра в ширину. Для прыжка с борта нужно было бы разбежаться по палубе и нырнуть „ласточкой“, чтобы войти в воду как можно дальше от корпуса и этих поводных крыльев.

Такой прыжок трудно выполнить с верхних палуб (где есть разбег) – высота их превышала двадцать метров и на ходу судна это мог бы сделать разве только Тарзан.

После тщательного осмотра кормы лайнера глазами будущего беглеца я понял, что прыгать можно только в двух узких местах – между закраинами гигантского винта и концами подводных крыльев, там, где струя воды отбрасывается от корпуса. На корме главной палубы, возможно, не будет туристов – у самого борта стояли баки с мусором; расстояние до воды отсюда было метров четырнадцать.

Стоя на набережной у кормы лайнера, я измерил взглядом это расстояние. И на минуту задумался.

- Высоко, – тихо заметил Дьявол-искуситель, – ты конечно побоишься.

Он знал, как сыграть на моем упрямстве.

- Кто знает, – ответил я и... принял решение прыгать.

Перед началом плавания нам была известна только общая схема маршрута: лайнер выйдет из порта Владивосток, пересечет Японское море и сделает короткую остановку в Цусимском проливе, где будет возложен венок в месте разгрома русской эскадры в 1905 году. Затем лайнер направится на юг, в Тихий океан, и приблизится к экватору. По традиции тем, кто впервые пересекает экватор, предстоит церемония морского крещения в „присутствии“ морского бога Нептуна. Весь маршрут от Цусимского пролива до экватора держался в секрете от туристов, но было ясно, что „Советский Союз“ не будет приближаться к чужим берегам.

Туристам сообщили, что в продолжение всего пути можно будет загорать под тропическим солнцем, купаться в бассейнах и любоваться красочной панорамой океана.

На лайнер были приглашены лекторы – знакомить туристов

с политическим устройством и экономическим положением близлежащих стран.

Мягко выражаясь, советским людям была предоставлена неограниченная возможность мысленно посетить чужеземные города и страны, которые будут где-то довольно близко за чертой горизонта.

Оставалось несколько часов до отхода лайнера, и мы собрались в нашей каюте, чтобы отпраздновать отплытие судна и начало отпуска.

В этот момент я почувствовал, что пора прощаться с тем, что зовут родной землей. Чтобы вполне осознать, что она такое, нужно ее покинуть навсегда. Даже при расставании с человеком мгновенно исчезают все огорчения и неприятности, причиненные им, в душе остаются только счастливые воспоминания. Родина – это прежде всего Душа. Она разлилась повсюду и смотрела на меня тысячью глаз. Наступила какая-то магическая тишина, мир стал одушевленным. Я боялся пошевелиться и спугнуть эту тишину.

– Боцмана на бак! Поднять левый якорь!

Моряки чувствуют грохот якорной цепи иначе, чем жители суши.

Казалось, что вся окружающая природа участвует в церемонии отхода судна. В молчаливой сосредоточенности стоят соседние корабли. Портовые краны слегка склонили свои головы-стрелы. Тихо-тихо набегают волны на стенку набережной. Облака в небе неподвижно застыли. Чайки неслышно парят в полете, и их крик совсем не нарушает эту магическую тишину, звучат команды. Швартовые концы, как змеи, вползают на палубу. Бурлит вода у винта. Между стенкой набережной и бортом лайнера появляется полоска воды...

Руководители круиза пытались взять под контроль все свободное время туристов. Для этого сформировали группы по двадцать пять-тридцать человек, назначили комиссаров и всем выдали цветные галстуки как отличительные знаки. Каждая группа должна была сидеть за своим столом, ходить вместе на лекции и в кино и участвовать в каких-то идиотских играх под руководством затейников.

Первыми подняли бунт девушки. Как-то вдруг оказалось, что в нескольких группах собрались только женщины, и они решительно потребовали „разбавить“ их группы достаточным количеством мужчин. Женщины дру-

гих групп не хотели отдавать своих мужчин - их и так было мало. Перегруппировки продолжались несколько дней.

Самые смелые и непреклонные туристы тут же „потеряли“ галстуки, подчеркнув свою полную независимость.

Первые дни нас будили по утрам и пытались сгонять на лекции. Скоро организаторам лекций стало ясно, что для успешного выполнения этого „задания партии“ туристов нужно связывать и нести в лекционный зал на носилках. В конце концов руководители рейса махнули на все рукой и предоставили туристов самим себе.

Как вы думаете, что может быть, если несколько сот здоровых цветущих парней поселить в близком соседстве с еще большим числом молодых женщин? И всего лишь на двадцать дней? Стоило спуститься вниз по трапу, как можно было услышать несмолкаемый гул голосов и ощутить распыленный в воздухе запах спиртного и духов. За дверью каждой каюты - музыка, песни, пляски, хохот и визг женщин, несмолкаемый шум споров, пьяные выкрики, любовные стоны, непрерывные тосты, звон посуды.

Туристы предавались веселью, начиная с обеда и до утра - в каждый драгоценный день отпуска. На завтрак выходило мало людей - многие еще крепко спали. На обед собирались почти все. Во время ужина можно было видеть, как быстро прибегали посланцы разгулявшихся компаний, хватали со стола несколько бутербродов и снова исчезали в жилых палубах. Похоже было, что многие гуляки так и не найдут времени выйти взглянуть на океан и подышать свежим воздухом.

Как только темнело, начинались танцы. Музыку и песни передавали по громкоговорителям с утра и до полуночи.

Передо мной, задумавшим „нечистое дело“, стояла очень трудная задача - нужно было каким-то образом определять местоположения судна. У меня была мелкомасштабная карта Тихого океана, звездная карта обоих полушарий и бинокль. Я собирался делать прокладку пути судна по счислению и по тем отрывочным сведениям, какие мог получить в штурманской рубке. Чтобы не привлекать внимания, я не решался часто бывать в рубке и много часов простаивал с биноклем на самом верхнем мостике, пытаюсь увидеть землю на горизонте.

Мне хотелось знать, как пролегает маршрут: всегда в открытом океане или хоть иногда недалеко от берегов?

Наконец, наш загадочный туристский маршрут был раскрыт - в одном из залов лайнера мы увидели географическую

карту западной части Тихого океана с линией пути судна к экватору и обратно, даже с помеченными датами! Я принял эту карту, как „послание Небес“ – она помогла мне сэкономить массу времени.

Лайнер должен был пересечь Восточно-Китайское море в виду острова Тайвань, проследовать вдоль восточных берегов Филиппинских островов, направиться в Целебесское море и достичь конечной цели – экватора – между островами Борнео и Целебес. В дневное время курс шел поближе к берегам, а ночью – подальше.

Само собой разумеется, это была приблизительная схема маршрута и на нее нельзя было полностью полагаться. С другой стороны, можно было ожидать, что ради укорочения маршрута капитан будет вынужден весьма приблизиться к берегу в районе маленького острова Сиаргао и, может быть, – у южной оконечности острова Минданао. После тщательного анализа маршрута мне стало ясно, что покинуть лайнер можно будет только в этих двух точках.

Тропик Рака мы пересекли в виду острова Тайвань. Из-за облаков показалось солнце, но было еще довольно прохладно. Туристы высыпали наверх и заполнили все палубы. Остров находился все же довольно далеко – горы отсюда казались голубыми и даже в бинокль трудно было разглядеть какие-нибудь детали. На лайнере заметно возросло оживление – то ли потому, что внезапно пришло лето, то ли потому, что люди лучше узнали друг друга. В жилых палубах гул еще больше усилился – дни и ночи превратились в один бесконечный праздник. Для непосвященного человека лайнер мог сойти за веселый сумасшедший дом.

Руководители рейса совсем отчаялись в своей попытке провести запланированные „культурные“ мероприятия. Единственное, что оставалось руководству – это молить Бога о том, тобы туристы хотя бы не повываливались за борт. Теперь вся армия затейников днем и ночью дежурила на палубах и оттаскивала явно подвыпивших туристов подальше от борта. Но это случилось уже после события, вошедшего в историю круиза „Из зимы в лето“ под названием „Пожарная тревога“.

Так уж случилось – капитан нажал на кнопку и на лайнере прозвучал сигнал учебной пожарной тревоги.

Время было явно неудачное. Туристы уже успели проснуться и

опохмелиться, причем очень хорошо опохмелиться, когда вдруг услышали резкие трели непонятного сигнала.

Первая естественная реакция была у советских людей, как обычно, - не обращать никакого внимания и продолжать пить. Капитан правильно предвидел поведение своих туристов: по всем помещениям лайнера были спешно разосланы затейники с приказом - вытряхивать всех из кают и посылать наверх со спасательными нагрудниками.

Но затейники были тоже не дураки - они прекрасно знали, что их никто не станет слушать, и потому применили свой собственный тактический прием: „позабыли“ сказать, что тревога всего-навсего учебная...

Заторы начались уже в коридорах. Некоторые туристы „выходили“ из кают на четвереньках и тут же попадали под ноги бегущей толпы. Создавались такие фантастические сплетения мужских и женских тел, какие я видел только на каких-то древних картинах. Хорошо выпившие туристы страдали больше других - им оттапывали руки и уши. Опасные ситуации возникали на крутых корабельных трапах. Иногда пьяные валились назад, навзничь, с самой верхней ступеньки и срезали целые „гроздьи“ девушек, а те падая, визжали так, что ни о каких командах экипажа не могло быть и речи - и не услышать, и не понять. Кое-где появились санитары с носилками - подбирать раненых. Кто-то успел размотать по палубам пожарные шланги и включить воду. Шланги наполнились водой и стали метаться из стороны в сторону, сбивая бедных туристов с ног. Какие-то пьяные шутники захватили один шланг и с восторгом поливали мощной струей воды всех без разбора. Мне стало казаться, что я попал на палубу гибнущего „Титаника“.

Капитан, похоже, уже пожалел, что он растревожил этот веселый муравейник. Он тут же дал команду „отбой“, но ее никто не услышал. Боюсь, теперь, если даже что и случится на лайнере, капитан трижды подумает, прежде чем снова подаст сигнал тревоги.

У острова Лусон капитан неожиданно изменил курс, и мы приблизились к берегу так близко, что увидели даже пальмы - на расстоянии каких-нибудь пяти-шести миль. К борту невозможно было протиснуться - казалось, все туристы и обслуживающий персонал вышли наверх, чтобы взглянуть на берега чужой земли.

На другой день, перед рассветом, я вышел на палубу. Меня окутал теплый, ласковый пассат, мощные кучевые облака плыли по небу, а кругом, насколько хватало глаз, - безбрежный фосфоресцирующий океан необыкновенной красоты.

В полдень мы опять приблизились к берегу. Небольшие корал-

ловые острова манили бухтами и белоснежной короной бурунов. Пальмы столпились у самой воды и призывно махали издали зелеными ветвями. Несколько из них, особенно бесстрашные, вышли на крошечный островок, сцепились листьями и раскачивались вместе под напором ветра. Иногда крупные волны склоняли свои головы-гребни к самому их подножью.

Через час или два мы снова стали удаляться в океан, а берег остался в памяти, как сон, как мираж... В дальнейшем, до самого острова Сиаргао, мы видели берега только далеко на горизонте.

Начались бесконечно счастливые дни... Я метался от борта к боту с горящими от бессонницы глазами и не мог наглядеться на эти живые декорации из волшебной сказки. Океан выбирал для меня самые нарядные волны, а облака спускались очень низко, приглашая лететь вдаль. Солнце поджидало меня, прежде чем спуститься за горизонт, а ночью я, как тень, бродил по палубе, встречая восход незнакомых южных созвездий. И все это под аккомпанемент моих любимых мелодий, так уж совпало.

Я чувствовал себя диким зверем, рожденным в неволе, которого впервые вывели погулять на цепи в его родные джунгли. Всего один прыжок отделял меня от этой влекущей красоты и свободы. Но нечего было и думать о том, чтобы среди бела дня оставить судно на виду у сотен глаз, – мгновенно будет спущена шлюпка. Ночь – время беглецов! Ночью совершались все известные побеги из тюрем.

„Была бы только ночка, да ночка потемней...“

И вот незаметно подкрался этот день, 13 декабря. Тринадцатое число не самая удачная дата для рискованных авантюр. Но если у тебя нет иного выбора, то приходится закрывать глаза на суеверный страх.

Утром я попросил знакомую девушку-астронома пойти со мной в штурманскую рубку – с нею войти туда было проще. В рубке был только дежурный помощник капитана и матрос на руле. Пока девушка разговаривала с помощником, я подошел к навигационной карте. Лайнер находился еще далеко к северу от Сиаргао, но линия курса была проложена примерно в десяти морских милях от берега. Я успел заметить, что остров гористый и, возможно, будет виден издалека. Длина его была всего девятнадцать морских миль – это значит, что мы будем идти параллельно береговой линии в течение часа. В 20 часов по корабель-

ному времени лайнер должен был быть где-то на траверсе середины острова.

- Может, оставить судно позже? - внезапно струсил я.

- Где же еще? - строго возразил Дьявол-искуситель.

- У южной оконечности острова Минданао...

- Там наверняка сильные течения - ты даже не сможешь приблизиться к берегу, тебя пронесет мимо. И берег там очень горист, с отвесными скалами.

- А что, если в Макассарском проливе, прямо на экваторе, между островами Борнео и Целебес, - там мы будем в дрейфе два дня? Как раз под „шумок“ праздника Нептуна? У меня будет целых две ночи впереди! - не сдавался я.

- Этот пролив очень широк, с сильными течениями, а расстояние до ближайшего берега будет не меньше сорока морских миль. Капитан - уж будь уверен - постарается держаться подальше от берегов.

- Может быть, я смогу оставить лайнер на обратном пути? - взмолился я.

- На обратном пути лайнер будет проходить все ближайшие к берегу пункты только в дневное время.

Да, последняя возможность - сегодня ночью. Сегодня или... никогда.

Я не вышел на завтрак. На обеде я присутствовал, но ничего не ел - перед длительным заплывом желудок должен быть совершенно пуст, я знал это по опыту. Утром я проделал очистительные упражнения йогов - выпил два литра воды и пропустил ее через весь кишечник, минуя мочевого пузыря, я сделал также несколько других довольно сложных промывок вместе с дыхательными упражнениями.

Теперь я окончательно понял, что этот день будет действительно моим последним днем на лайнере.

С этого момента, когда я ясно осознал себя уже по ту сторону некой невидимой черты, я почувствовал, как у меня „проснулась душа“.

Я не мог думать о будущем - у меня не было будущего. В назначенный час я беру свое плавательное снаряжение и иду на корму лайнера, потом прыжок в темноту и... полная неизвестность. Я не мог думать о прошлом - это было уже совсем не важно в эти последние часы. Все мое внимание остановилось на настоящем. Я отмечал каждый свой шаг, каждое чувство,

каждое мимолетное движение души. Я чувствовал все, что происходило вокруг меня, я замечал сейчас множество мельчайших деталей в атмосфере, в поведении людей, в окружающей природе. Я стал необыкновенно пронизательным. Сначала я боялся, что окружающие не смогут не обратить внимания на мое изменившееся состояние, но их взгляды были так поверхностны, так быстро перебегали с одной вещи на другую, что им было ни до меня, ни „до себя“. Мне казалось, я легко мог читать мысли и чувства людей. Но мой взгляд ни разу не встретился ни с чьим столь же пронизательным взглядом. Я вдруг стал понимать японских камикадзе, римских гладиаторов, контрабандистов, вообще всех тех, кто ждет поединка или условного часа побега. Я готовился, если можно так выразиться, к „церемонии самопознания“, к некоему мистическому посвящению в тайны жизни и смерти. В таких случаях лучше быть одиноким.

Заход солнца прошел пышно и торжественно, наводняя небо всеми цветами радужных красок. Спустилась темная, беззвездная ночь. Лайнер приближался к северной оконечности острова Сиаргао. Я вышел на палубу. Дул сильный южный ветер, океан тяжело дышал огромными волнами. С запада приближались черные грозовые тучи, временами сверкала молния.

Я поднялся на самый верхний мостик, но даже в бинокль не мог ничего разглядеть. Так, где должен был показаться остров, не было видно ни одного огня. Я спустился вниз на крыло штурманского мостика и спросил вахтенного матроса о береговых огнях. Он, видимо, нашел мой вопрос праздным, посмотрел на юго-запад и ответил, что никаких огней на острове нет. Я и без него это видел.

А что, если капитан изменил курс и мы находимся дальше от берега, чем я предполагал?

Было уже около семи часов вечера. Я взглянул в последний раз туда, где должен был быть остров. Непроницаемый мрак. Все небо покрыто тучами. Молнии сверкали в разных сторонах горизонта почти непрерывно.

- Шторм идет! - возликовал я в душе. - Капитан не решится послать ночью шлюпку на розыски, не станет рисковать своими людьми. У меня будет целая ночь впереди!

Я пришел в ресторан к концу ужина - просто показаться. Все ленинградцы были на этот раз в сборе и оживленно беседовали. Я молча обвел всех взглядом. Мне не хотелось

выдумывать какую-нибудь ложь в этот важный для меня момент.

- Я не скоро вернусь... - произнес я тихо, но внятно и направился к выходу, не дожидаясь дальнейших вопросов.

Я снова взобрался на верхний мостик и стал всматриваться в горизонт на западе. Никаких огней. Ни луны, ни звезд. А у меня даже компаса нет. - Не все ли равно, - подумал я. - Жребий брошен...

Я вернулся в каюту - сделать последние приготовления: надел короткую майку, узкие шорты и несколько пар носков, шею повязал платком - на случай, если появится кровь и придется перевязать рану.

Я присел на несколько минут в нерешительности. С этого момента я сознательно и добровольно делаю вызов государству. В моей жизни еще никогда не было столь критического мгновения.

Я снова услышал зов Океана в своем сердце. И сделал свой первый шаг в неизвестность...

В руках у меня была сумка с ластами, маской и трубкой. Поверх плавательного снаряжения я небрежно положил полотенце. Я медленно пошел по коридору. Мне предстояло пройти около ста метров от носовой каюты, в которой я жил, до выхода на палубу и затем еще примерно столько же под открытым небом - до кормы. Мне казалось, что я иду по канату над пропастью.

Те, кто прошел такой путь, знают, что он проходит в другом психологическом измерении. Человек в нем меняется так, будто он прожил несколько лет. Если ты скован страхом, то ничего не заметишь, если внутренне свободен, то никогда этого не забудешь. У тебя останется жгучая тоска по этому иному измерению. В нем и только в нем чувствуется настоящая жизнь, а тот мир, из которого ты только что шагнул в неизвестность, сразу становится нереальным и похожим на обычный сон. Именно тогда я сделал для себя открытие: внимание - вот тайна жизни! Острое внимание вовне и внутрь. Обычно мы живем в каком-то полусонном состоянии, и только во время „мгновенных вспышек внимания“ мы способны по-настоящему „видеть“ и „чувствовать“.

На шлюпочной палубе, вблизи кормы, там, где проходил мой путь, начинались танцы. Я услышал одну из своих любимых песен: „Когда из родной Гаваны отплыл я вдаль...“

Я продолжал идти среди танцующих пар. Страх я не испыты-

вал - я превратился в мальчишку, убегающего от бабушкиной опеки в манящий лес с дикими зверями.

Я спустился по трапу на корму главной палубы. Там стояла раскладушка и на ней сидели трое матросов. Подойдя к фальшборту, я постоял несколько мгновений. Нельзя было прыгать прямо у них на глазах. Мне представилось, как они тут же дадут знать по телефону (он висел над их головой) на капитанский мостик, последует сигнал „Человек за бортом“ и меня тут же начнут искать прожекторами.

Я опять поднялся на шлюпочную палубу и стал обдумывать создавшееся положение. Времени уже совсем не оставалось, через полчаса, согласно моим расчетам, лайнер минует остров.

Я снова спустился вниз. Два матроса куда-то исчезли, а третий стелил постель на раскладушке и повернулся ко мне спиной.

Я облокотился одной рукой о фальшборт, перебросил тело за борт и сильно оттолкнулся...

Полет над водой показался мне бесконечным. Я ясно осознал, что пересек не только границу государства, но и некий психологический барьер и оказался по другую его сторону совсем другим человеком.

Траекторию полета я рассчитал хорошо. Оказавшись за бортом, я резким движением развернул тело ногами к корме, а спиной к поверхности воды. Некоторое время я летел в этом горизонтальном положении, за кормой лайнера, пока не почувствовал, что сила инерции стала ослабевать и я падаю почти вертикально, спиной вниз. В этот момент я стал плавно поворачивать тело так, чтобы войти в воду ногами под небольшим углом. Я понимал, что мне не удастся погасить инерцию до конца и мне ни в коем случае нельзя принимать вертикального положения ногами вниз - меня могло „завалить“ и ударить лицом и животом о воду. Я пролетел эти пятнадцать метров в темноте, как и ожидал, и удачно вошел в воду ногами под острым углом, не выронив сумку с плавательными принадлежностями, чего очень боялся. Меня сильно закрутило струей воды, но в последний момент я успел крепко прижать сумку к животу.

Затаив дыхание, я старался оставаться под поверхностью воды до тех пор, пока большое световое пятно кормовых прожекторов пройдет мимо. Какое-то время было совсем темно, потом я попал в поле яркого света. Мне показалось, что меня заметили и поймали в луч прожектора. Но вскоре наступила полная

темнота. Я выбросил ненужное уже полотенце, надел маску с трубкой и сделал несколько глубоких вдохов. Вода была довольно теплой, при такой температуре можно плыть очень долго. Я надел ласты и перчатки с перепонками между пальцев. Сумка стала больше не нужна. Мои часы со светящимся циферблатом показывали 20 часов 15 минут по корабельному времени - я выбросил их позже, когда заметил, что они остановились.

Я был один в ночном океане - вокруг ничего, кроме черных нависших облаков. И ни одного огня! Тогда, набрав воздух в легкие, я стал грести ластами так, чтобы можно было высунуться из воды по пояс. Я видел только вершины огромных волн и ночное небо. Лайнер исчез. Это меня так озадачило, что я не знал, что и думать. Снова и снова я всматривался в темноту, в надежде обнаружить лайнер. Если я увижу бортовые огни, рассуждал я, лайнер разворачивается и меня будут искать, если кормовые - меня не заметили в первый момент или не заметили вообще. Наконец, когда я оказался на вершине самой высокой волны, я увидел кормовые огни лайнера примерно на расстоянии морской мили. Я облегченно вздохнул. Даже если сейчас последует команда „Человек за бортом“, лайнер успеет по инерции уйти на далекое расстояние. Я боялся возвращения лайнера больше всех других опасностей вместе взятых. Возвращение на лайнер означало на моем языке нечто еще страшнее смерти.

Я снова оглядел горизонт с вершины одной из громадных волн. Там, на западе, где должен быть остров, не видно было никаких огней. В течение получаса я все еще со страхом ожидал увидеть бортовые огни судна, но тревога была напрасной. Меня как будто никто не заметил.

Первое время я плыл, ориентируясь по изредка видимым огням уходящего лайнера. На западе часто сверкали молнии и слышались далекие раскаты грома. Восемь раз меня медленно поднимали и опускали громадные волны, и только с высоты „десятого вала“ я видел линию горизонта и расплывающиеся во тьме огни судна. Я постоянно сбивался с выбранного курса - было очень трудно плыть при таком большом волнении. Я медленно выбирался на водяные валы, и мне казалось, что я ползу по дюнам в пустыне. Почти каждая вершина волны несла на себе светящийся гребень, который с шумом опрокидывался. Иногда порывы ветра срывали водяные брызги с поверхности

воды, и они хлестали меня колючими иглами. Дышать было очень трудно. Часто гребни волн накрывали меня с головой, и я должен был перед каждым вдохом продувать свою трубку. Я внимательно следил за своим дыханием: делал первый пробный легкий вдох, затем, после энергичного выдоха, делал глубокий вдох и задерживал дыхание до тех пор, пока чувствовал легкую потребность в следующем (не менее минуты). Мне казалось, что я не продержусь на поверхности воды и часа с таким редким периодом дыхания. Если несколько капель попадет мне в легкие, то я уже не смогу отдышаться, я хорошо знал это по опыту.

Лайнер уходил все дальше, и теперь я был совершенно спокоен – меня никто не заметил, ведь прошло уже достаточно времени после побега.

Я то и дело сбивался с намеченного курса. Несколько минут плыл по воображаемому направлению среди водяных холмов, пока самая высокая волна не подхватывала меня на свою вершину. Тогда находил огни лайнера не слева от меня, как ожидал, – а сзади, или справа, или даже впереди. Я снова разворачивался на запад и надолго опускался вниз, в „долину“. Иногда я не успевал найти огни с высшей точки, и мне приходилось ждать следующей волны.

После десятка таких случаев я вдруг ясно осознал, что долго так продолжаться не может – лайнер скоро скроется из вида. Что я буду делать потом? На юго-востоке горизонт был темнее, чем в других направлениях. На западе постоянно сверкали молнии: оттуда прямо на меня двигались большие грозовые тучи. Ориентироваться по направлению ветра было неразумно, оно могло быстро измениться, оставался единственный более-менее постоянный ориентир – расположение облаков.

– Если постоянно следить за изменением облачности, – рассуждал я, – то еще несколько часов можно будет доверять избранному курсу.

Я часто вглядывался в горизонт на западе и все еще надеялся увидеть береговые огни острова, но, увы, – надежда была напрасной.

Когда лайнер, наконец, скрылся на горизонте совсем, я почувствовал, что остался абсолютно один в ночном штормовом океане. Вскоре тучи повисли над самой моей головой и пошел ливень. Расположение облаков изменилось настолько, что я

стал сомневаться в выбранном направлении. Я мог оглядывать небо только при задержанном дыхании, это нарушало его ритм, и мне приходилось после этого на некоторое время концентрироваться только на моей трубке, не обращая внимания ни на что больше.

Я часто менял курс – то мне казалось, что нужно плыть в одном направлении, то – в другом. Пока возможная ошибка была не более девяноста градусов, я мог продолжать движение, но когда я обнаружил, что не могу с уверенностью сказать, плыть мне вперед или прямо в противоположном направлении, я остановился и стал осматривать ночное небо.

Облачность была очень густая. Ни одной звезды не было видно. Если бы мне не нужно было уделять так много внимания своему дыханию, я бы смог, возможно, продержаться на верном курсе до самого утра, наблюдая за развитием облачности у линии горизонта. Мне же приходилось большую часть времени оставаться внизу и всего несколько секунд – на вершинах самых высоких волн. Практически я видел только облака над головой. Когда, наконец, я понял, что у меня больше нет никаких ориентиров, я остановился и решил подождать до утра. Мне казалось, что еще даже полночь не наступила, а у меня нет никакой надежды найти дорогу в этом страшном ночном океане.

И во мне стал рождаться страх. Волны страха двигались от рук и ног, подступали к сердцу и затем шли через шею к голове. Страх начал душить меня, дыхание стало учащенным, и я почувствовал, что задыхаюсь. Гребни волн по-прежнему часто опрокидывались мне на голову, заливая трубку, и я понял, что в таком состоянии мне не продержаться на воде и получаса.

Я верю, что от страха можно умереть. Я вспомнил тех моряков, которые погибали – без особых на то причин – в первые несколько дней после кораблекрушения. Происходит какое-то самовозбуждение – одна волна страха вызывает другую, еще большую. Я почувствовал, как судороги стали сжимать горло, мне хотелось закричать. Еще несколько мгновений – и я задохнусь.

В этот момент у меня мелькнула мысль, что я нахожусь далеко еще не в безнадежном состоянии и просто убиваю сам себя. Я собрал всю свою волю и „взглянул в лицо“ страху. Этому приему я научился давно, еще когда ходил по ночам на кладбище и упражнялся в храбрости. Мне было тогда лет 7-8, и

мне почему-то думалось, что только там я смогу выработать в себе бесстрашие. Это очень простой прием, когда его вполне освоишь. Если „отведешь глаза“ на мгновение, страх снова набрасывается с прежней силой. Нужно удержать концентрацию некоторое время и целиком погасить его волны.

Страх прошел. Я снова почувствовал, что могу дышать равномерно и глубоко. В моем положении ничего больше не оставалось, как дожидаться утра, просто держась на поверхности. Я понял, что не смогу найти дорогу без звезд.

Я так был занят первым этапом побега, что совсем упустил из вида второй - добраться живым до берега. Если бы у меня был компас... Почему-то я представлял тропики совсем иначе - неподвижно повисшие паруса... палит солнце... теплые, влажные ночи с яркими, как изумруды, звездами... или полная луна медленно скользит среди редких облаков...

Прошло несколько томительных часов. Я старался просто удержаться на поверхности, экономя силы. Незаметно подкралась большая черная туча и вылила на меня потоки пресной воды. Мне удалось сделать два-три глотка, предварительно отодвинув трубку и задержав дыхание. Пить не хотелось, но кто знает, сколько еще времени мне придется пробыть без воды?

Ветер стал как будто стихать. На меня реже опрокидывались гребни волн. Облака поредели, и среди них заулыбались одинокие звезды. Ночь была безлунной.

Вдруг я заметил очень яркую звезду в разрыве облаков. Это могла быть только планета Юпитер. Я попытался запомнить расположение облаков на случай, если планета скроется из вида, и уверенно двинулся на запад. Юпитер исчез так же неожиданно, как и появился, но теперь я был обеспечен верным направлением, по крайней мере, еще на пару часов. Немного позже, когда облака раздвинулись шире, я увидел „пояс“ Ориона на юго-востоке. Я уже мог плыть по прямой линии, почти не сбиваясь с курса. Иногда я просто переворачивался на спину, чтобы лучше видеть облака, и продолжал двигаться на запад, не останавливаясь.

Я заметил какой-то огонь на западе. Вскоре он раздвоился, оба огня стали ярче и ближе. В то же время большая темная туча нависла надо мной и закрыла большую часть неба. Хотя мне очень не хотелось держать курс по непонятным огням - это могло быть движущееся судно, и мне пришлось бы плыть

за ним неизвестно куда, я продолжал плыть на эти огни, другого выхода не было. Волны по-прежнему оставались огромными, и большую часть времени я проводил „в долине“ среди „песчаных дюн“. Потом прошел небольшой дождь, и ветер прогнал тучу куда-то на юго-восток, верхние облака закрывали от меня почти все небо, а Юпитер больше не показывался. Иногда я видел отдельные звезды, но не мог определить, к какому созвездию они принадлежат. Вскоре и эти странные огни куда-то пропали. Я снова был вынужден остановиться и ждать.

Во время движения я не чувствовал холода, но когда просто держался на поверхности воды, было чуть-чуть прохладно.

Мне вспомнились далекие дни детства, когда я еще не умел плавать. Тогда я жил в городе Семипалатинске, позже получившем печальную известность своим ядерным полигоном, где проводились испытания атомных и водородных бомб. В то время этот подземный полигон еще только строился и все называли это место почему-то „Луной“.

Семипалатинск расположен на берегу Иртыша. Летом я часто ходил с ребятами купаться и ловить рыбу. Мне было всего лет 7-8, плавать я не умел, и моя мать отпускала меня только с одним условием - „даже близко не подходить к воде“. Для уверенности она брала с меня честное слово и никогда не забывала этого делать в каждом индивидуальном случае.

Я сидел на берегу и с тоской смотрел, как плавают и ныряют мои сверстники - ни у кого больше не было такой строгой мамы. Надо мной смеялись, звали маменькиным сыном, но я ни разу не нарушил обещания.

Однажды родители отправили меня в пионерский лагерь и мать забыла взять с меня честное слово. Это был мой единственный шанс научиться плавать, и, само собой разумеется, я не мог его упустить. Лагерь был расположен в сосновом бору, а в километре находилось глубокое озеро с заросшими обрывистыми берегами и водяными белыми лилиями в нем. Там никто не купался, оно пользовалось дурной репутацией, говорили, что там живет „водяной“. Каждую ночь, когда все в лагере засыпали, я убежал на это озеро и учился плавать. Это было нелегко, конечно, - вообще-то я был ужасный трус. Если бы милая мама знала, к чему приведет запреты.

Облака опять поредели и кое-где стали видны одинокие звезды. Все же я недостаточно хорошо знал звездное небо, чтобы угадать созвездие по его отдельным частям. Наконец, мне уда-

лось различить созвездие Близнецов, потом снова „пояс“ Ориона и очень яркую звезду на его линии – Сириус. Я опять мог плыть прямо на запад, руководствуясь этими надежными ориентирами.

Моя неумеренная любовь к морю стала причиной всех моих жизненных неудач. Эта страсть появилась с того самого момента, как я начал себя помнить, и осталась на всю жизнь.

Мои ближайшие родственники и все их предки были безнадежно сухопутными людьми, и, пожалуй, на всем земном шаре не найдется другого места, более удаленного от моря, чем город моего детства – Семипалатинск. О море я перечитал „все“ рассказы, но это меня совсем не удовлетворяло. Мои родители считали, что вся эта блажь с годами пройдет, как проходит у многих – им хотелось видеть меня дипломированным инженером. В 15 лет, как это было принято с древнейших времен среди почитателей морей, я убежал из дома (в Ленинград) и попытался устроиться юнгой на корабль, уходивший в дальнее плавание. Но, увы, – я родился не в то время и не в той стране. Я не смог отправиться в плавание сразу по трем причинам: у меня не было визы, я не был прописан в Ленинграде и не достиг еще шестнадцати лет.

Много позже я снова приехал в Ленинград и поступил в Океанографический институт, но визы для настоящего дальнего плавания так никогда и не получил.

Силой я заставил себя вернуться к реальности. Прошло уже много часов, и, вероятно, перевалило за полночь. Орион миновал свой зенит и оказался на северо-западе, прямо передо мной, во всем своем блеске. Потом наступающий рассвет погасил все мои звезды, и я острее почувствовал одиночество. Я поплыл медленнее, ориентируясь только по расположению облаков.

Небо было сначала серым, потом появились бледные синефиолетовые тона. Через несколько минут краски стали ярче, прорезав небо темнокрасными полосами, а облака нарядились в желтые одеяния. Восходящее солнце показалось над океаном. Меня окружали большие волны зыби. Облака стали роковыми и метались по небу в самых различных направлениях. День был ветренный... Было как-то странно сознавать, что всего неделю назад я ходил в зимней одежде и был сильный мороз.

На западе, над самой линией горизонта я увидел бутоны

кучевых облаков. Но как я ни вглядывался, я не мог различить среди них ничего больше. Земли на горизонте не было видно. Неужели я ошибся в расчетах? Может быть, меня за ночь сильно снесло течением? Может быть, капитан изменил курс и лайнер удалился от острова? Может быть, лайнер не дошел до острова или прошел его, когда я прыгнул за борт? Все могло быть и еще хуже того – все вместе. Никаких следов земли на западе не было... Я оглядывал весь горизонт снова и снова. Океан был совершенно пуст. Небо и океан.

К сердцу снова подступил страх. Надвигалась настоящая опасность – мой призрачный остров пропал.

Внезапно я вспомнил о другой, не менее грозной опасности: на лайнере, наверное, уже обнаружили мое отсутствие. Лайнер может вернуться, теперь меня очень легко найти и, как провинившегося котенка, вытащить за шиворот из воды.

– Нет, – вздрогнул я невольно. – Только не это. Пусть уж все остается, как есть. Я предпочитаю общество акул.

Именно эта опасность – возвращение лайнера – снова меня подстегнула. Вперед, только на запад, пока хватит сил. И я снова поплыл...

Нельзя сказать, что всю жизнь я только сидел у окна и мечтал о путешествиях. Я очень много и всесторонне тренировался. Один год я полностью посвятил упражнениям в голодании и в общей сложности ничего не ел треть года, только стакан воды в день. Я начал с десяти дней. Потом, после месячного „отдыха“, я снова перестал есть и продержался 21 день. Я был уверен, что смогу прожить без пищи гораздо дольше. Я хотел проголодать классический срок – 42 дня, но мне пришлось остановить этот эксперимент после 30 дней.

Я снова очнулся. Кругом был совершенно пустынный океан – ни дельфинов, ни птиц, ни летучих рыб.

Иногда я вглядывался в глубину, но ничего не видел, кроме сине-фиолетовых красок и каких-то теней, не то акул, не то каких-то крупных морских чудовищ. Мне не хотелось думать об акулах: за мыслями по пятам всегда следует страх.

Вскоре облака заполнили все небо, и солнце больше не показывалось. Снова прошел легкий дождь.

После полудня, когда солнце чуть-чуть прошло свой зенит, я заметил среди белых кучевых облаков на горизонте слабый неподвижный контур.

Опять я поджидал каждый „девятый вал“, чтобы убедиться – земля это или просто... мираж?

Ветер стал заметно стихать. Облака уже не метались в небе, как раньше, а стройно двигались с юго-запада на северо-восток. И только на западе они высились неподвижно, как взбитые сливки. У меня появилась надежда, что остров все же где-то близко. Не может быть, чтобы облака так упорно держались на одном месте над водой. Во всех других направлениях они то появлялись, то исчезали.

Я знал по опыту, что над горами постоянно парят кучевые облака, а остров Сиаргао был гористым. Солнце стало светить из-за облаков сверху, прямо мне в лицо. Было около двух часов дня. Я снова заметил на западе едва различимые горные пики.

Прошел может быть час или два. Теперь я видел неподвижный зубчатый контур уже из любого положения – мне не нужно было поджидать самую крупную волну,

– Земля!!! – я не мог отказать себе в удовольствии – прокричать это магическое слово и заодно услышать звук собственного голоса.

Может быть, это и есть мой призрачный остров Сиаргао? Я чувствовал себя почти победителем – теперь у меня была надежда.

Последний раз выглянуло солнце, как будто попрощаться со мной, и скрылось. Через несколько минут небо заполыхало всеми цветами радуги – яркие краски быстро сменяли друг друга прямо на глазах. Сначала облака приняли густой красный цвет, затем их края стали ярко оранжевыми. Чуть позже они перекрасились в желтый, а их центр приобрел красивый розовый отлив. Спустя какое-то время облака стали сиреневыми и ярко-фиолетовыми. Быстро стемнело. Наступила моя вторая одинокая ночь в океане.

Незаметно зажглись звезды. На западе, там, где скрылся из вида мой таинственный остров, я увидел множество огней. Они разбрелись по склонам гор и кое-где у линии горизонта. Ночь была очень темной, на поверхность воды спустилась мертвая тишина. Равномерное дыхание океана очень успокаивало, и я чувствовал себя почти в безопасности. В первую ночь опрокидывающиеся гребни волн вызывали свечение всей водной поверх-

ности, но теперь, когда океан затих, каждое мое движение сопровождалось голубоватым языком пламени и было похоже, что я горел на медленном огне.

Разумеется, я был виден из глубины, как на ладони. Я читал где-то, что как раз в такие звездные ночи выплывают на поверхность разные чудовища: морские змеи, гигантские кальмары, огромные скаты, выходят на ночную охоту акулы... С тихим ужасом и любопытством я ожидал их. Временами я слышал звуки, напоминающие журчание ручейка в лесу, и зовущие меня голоса. Наиболее отчетливо я улавливал музыку и пение чаще приятный женский хор. Временами было так тихо, что становилось совсем жутко. Я старался производить как можно меньше шума, но не вызывать свечения воды мне никак не удавалось. Оно прекращалось только тогда, когда я совсем не двигался. А ведь мне надо было плыть... Меня успокаивали легкие мирные всплески волн - они, как музыкальные аккорды, так незаметно прерывали зловещую тишину, что, казалось, я сижу на берегу спокойного озера и его волны чуть-чуть накатываются на берег у самых моих ног. Мне чудилось, что вот сейчас выплывет морская нимфа из глубины, кокетливо помашет хвостом и призывно засмеется. Потом появятся диковинные nereиды и тритоны на панцирях морских черепах. Я ощущал рядом чье-то присутствие. Часто за моей спиной раздавались тяжелые вздохи, хохот и стоны... Под водой я видел вспыхивающие огни, непонятное свечение и фосфоресцирующие следы невидимых морских созданий. Я боялся долго смотреть в глубину - мне могло показаться Бог знает что!

Но никто не появлялся и ничто не нарушало тишину океана. Я, наконец, отважился поднять маску на лоб, отодвинул трубку в сторону и мог дышать носом. Глубокое ритмичное дыхание рассеивает страхи. В продолжение всего пути я, насколько мог, старался сохранять спокойствие - пусть акулы думают, что я тоже здесь живу! Это было мое единственное оружие...

За последние несколько часов я заметно приблизился к острову. У меня даже мелькнула мысль, что я могу добраться к нему этой же ночью, в крайнем случае - утром.

Стали уставать ноги, я поплыл медленнее, пытаюсь ввести в работу другие мышцы, но это улучшило состояние ненадолго, я мечтал встретить дельфинов или больших морских черепах и попросить их помочь мне, но их почему-то не было поблизости.

(Иногда они помогали, я читал об этом.) Я не мог позволить себе забыть даже на минуту-другую: все время нужно было держать под контролем дыхание. Я делал очень глубокие вдохи, а при таком медленном ритме дыхания легко втянуть мельчайшие капли воды прямо в легкие и закашляться – со мной это не раз случалось прежде на воде и под водой. Я хорошо знал, как тяжело проплыть в таком состоянии даже короткое расстояние до берега или до лодки.

Есть и пить мне совсем не хотелось – я настроил себя на самые непредвиденные обстоятельства. Мне казалось, что я могу легко выжить без воды в течение двух недель и не менее двух месяцев без пищи с небольшим количеством морской воды. А что потом? Будет видно... всегда что-нибудь находится...

В воздухе появилась легкая дымка, и весь остров вдали стал бледноголубым, почти прозрачным. Его цвет почти не отличался от цвета голубого неба, но хорошо видимая контурная линия позволяла верить, что это все же не мираж.

Прошло еще несколько часов. Я с удовлетворением обнаружил, что южная оконечность острова, особенно у горизонта, стояла как будто чуть-чуть темнее и значит должна быть ближе. Я изменил курс и направился на юго-запад. Как позже оказалось, это была непростительная оплошность.

До полудня облака прикрывали солнце, но после я попал под его жгучие лучи. Теперь, когда оно прошло через зенит и светило мне сверху в лицо, открытые солнцу плечи, руки, грудь и часть спины стали нестерпимо гореть. Но, к счастью, снова появились белоснежные кучевые облака, нависли надо мной и спрятали в своей тени.

После полудня я увидел довольно близко черный предмет – мне показалось в первый момент, что это днище перевернутого судна. Я видел этот предмет только с вершины „девятого вала“, и мне никак не удавалось к нему приблизиться. Потом он неожиданно пропал. Это могла быть плоская одинокая скала или риф, а может, что-нибудь другое, кто знает?..

Примерно в это же время я попал в полосу сильного берегового течения, и меня стало сносить к югу – но я обнаружил это, когда было уже поздно. Мое внимание отвлек корабль, который я заметил к югу от себя. Сначала я увидел высокие мачты прямо над линией горизонта, а корпус почему-то долго не показывался. Когда он, наконец, показался, я без труда опознал

небольшой рыболовный сейнер, тонн на 500-600. По моим расчетам я уже был в трехмильной береговой зоне, и мне не было смысла его опасаться. Судно шло на меня, и я даже перестал плыть. Но не доходя четверти мили, оно вдруг изменило свой курс и прошло мимо в каких-нибудь 100-200 метрах на север между мной и островом. На палубе никого не было, и сколько я ни махал руками, сколько ни звал – меня никто не заметил. А я был так уверен, что оно послано самим Богом!.. И когда оно удалилось, я почувствовал разочарование, близкое к отчаянию.

Близился вечер. Океан вокруг меня был полон жизни – из воды часто выскакивали крупные рыбы, прямо над моей головой пролетали большие птицы. Впереди я уже отчетливо видел остров. Он был сказочно красив. Вдоль всего побережья протянулась цепочка игрушечных пальм. Прямо напротив меня я видел крутые, отвесные скалы, покрытые густой растительностью, и вход в живописную бухту. Поверхность гор переливалась всеми оттенками зеленого, и только кое-где небольшие белые пятна указывали на наличие обнаженных пород. Бутоны белоснежных кучевых облаков неподвижно замерли, чтобы скрыть нагие вершины синюющих гор а может быть, что-то еще, таинственное и непостижимое.

Остров казался необитаемым. Я не видел никаких признаков жилья, ни дыма от очагов, ни каких-нибудь построек.

Прошло около часа, может быть, больше. Было необыкновенно тихо. И вдруг, к своему ужасу, я обнаружил свою оплошность – мой остров стал заметно смещаться к северу и продолжал неумолимо двигаться в этом направлении, прямо на моих глазах.

Прежде чем я сообразил, что происходит, и резко изменил свой курс прямо на север, передо мной открылась южная оконечность острова, а там, дальше, – открытый океан до самого горизонта!

Я оказался полностью во власти течения и со страхом наблюдал, как оно медленно проносит меня мимо земли.

Как ни старался я плыть энергичнее, как ни пытался выжать все, что еще оставалось в моих усталых мускулах, – расстояние между мной и берегом не сокращалось.

Теперь я уже плыл прямо на север. Я все еще надеялся на чудо. Но постепенно берег отодвигался все дальше и дальше и

я понял, что у меня нет никакой надежды выбраться на этот заколдованный остров.

Я очень устал и неподвижно повис в воде. Стало темнеть. Мое тело медленно поднимали и опускали большие, пологие волны зыби. Отдохнув, я медленно поплыл на север – больше плыть было просто некуда. Остров Минданао был слишком далеко.

Незаметно подкралась моя третья ночь в океане... Стало совсем темно. Через некоторое время я увидел два огня на северо-востоке – не то в море, не то на берегу. Огни были недалеко друг от друга и мигали с постоянно изменяющимся периодом. Похоже, думал я, какое-то судно ловит рыбу на свет. Огни казались очень далекими, но мне ничего не оставалось, как придерживаться этого курса. Надо же было плыть хоть куда-нибудь!

Ноги перестали мне повиноваться и беспомощно повисли – я двигал тело только руками. Было такое ощущение, будто ноги совсем отсутствуют, – только дотронувшись до них, я мог убедиться, что они на месте. Когда ноги снова „появлялись“, я пытался ввести их в работу. Постепенно ноги стали „исчезать“ все чаще и чаще.

Сильно горели обожженные солнцем лицо, шея и грудь. Меня лихорадило и все больше клонило ко сну. Временами я ненадолго терял сознание. Боясь сбить дыхание, я опустил маску и взял в рот загубник.

Наконец, ноги совсем отказались мне служить и безжизненно повисли. Легкие, однако, по-прежнему работали ритмично, как и в начале пути – сказались долгие тренировки в дыхании по системе йоги, и я мог бы еще долго работать руками.

Меня била сильная дрожь. Я стал все чаще терять сознание, а когда оно возвращалось, я обнаруживал, что плыву не к огням, а от огней.

Вскоре я совсем потерял понятие о времени, и мне стало казаться, будто я плыву уже очень и очень давно – целую вечность. У меня, похоже, начались галлюцинации. Стоило мне чуть-чуть сконцентрироваться на мимолетных видениях-мыслях, как они тут же начинали принимать вполне осязаемые формы. В первую и вторую ночь свечение водной поверхности вокруг меня было вызвано только плавательными движениями. Теперь же оно вообще не затухало – похоже, на мне уже основательно

поселилась колония фосфоресцирующего планктона. Мне стало труднее видеть все, что происходит в нескольких метрах от меня, из-за собственного света.

Будучи в состоянии полутранса, я мог видеть все, что было передо мной на сотни метров вперед. Стоило только моему взгляду „побежать“ дальше, как я легко схватывал все окружающие детали вплоть до самого острова. Хорошо помню, как один раз я „пробежался“ равнодушным взглядом от берега через весь остров прямо к вершинам гор.

Мое неверие, как всегда, подвело меня. Только позднее я понял, что действительно видел внутренним взором все, что было на моем пути к острову. Огни не приближались. Это могло быть какое-нибудь уходящее судно. И я подумал о смерти. Мне казалось, что, пожалуй, бессмысленно продлевать свою жизнь еще на несколько мучительных часов. Я уже не надеялся встретить рассвет...

Эта моя третья ночь в океане была очень темной, гораздо темнее двух предыдущих, я пытался оглядеться вокруг, но ничего не видел, кроме тех мигающих огней.

Я решил умереть. В моем положении сделать это было довольно трудно. (Я жалел, что не взял с собой ножа.) Я знал только два способа: один - наглотаться воды, сбросив все плавательное снаряжение, другой - нырнув, задержать дыхание до наступления кислородного голодания. Второй способ казался менее мучительным и более надежным.

Я не боялся смерти. Мне много раз уже приходилось умирать в моих ярких сновидениях: я был зарезан ножом в живот, меня убивали из всех видов огнестрельного оружия, приговаривали к повешению, пару раз мне отрубили голову на гильотине, пару раз - утащили под воду.

Но тут я услышал тихий голос: „Плыви на шум прибора...“

Действительно, вдали уже некоторое время был слышен какой-то глухой рокот, на который я совсем не обращал внимания. Теперь же я стал прислушиваться, и мне показалось, что в той стороне слышен характерный звук реактивных самолетов - как будто они часто приземлялись и взлетали.

Внутренний голос продолжал настойчиво повторять, чтобы я плыл именно на шум прибора - он был от меня где-то слева, а я двигался к огням, все еще видимым далеко впереди.

Наконец, я повиновался, изменил свой курс и поплыл на

шум прибоя. С этого момента я потерял контроль над временем и снова, по-видимому, впал в состояние транса.

Каждый раз, когда я приходил в себя среди высоких волн, я чувствовал глубокий душевный перелом, какие-то необратимые явления в психике и во всем теле – я переживал потерю чего-то бесценно-чудесного. С удивлением обнаруживая себя в ночном состоянии, я медленно припоминал все, что со мной произошло. Тогда я почти не чувствовал, но продолжал делать плавательные движения руками. Вокруг меня неустанно качалась огромная светящаяся масса движущейся воды. В памяти возникали какие-то смутные обрывки воспоминаний, но я никак не мог связать их в одно целое.

Прошло бесконечно много времени. Вдруг меня сильно встряхнуло, и я стал неудержимо падать куда-то в бездну. Ясно помню свою первую мысль: „Я жив! Я на рифе!“ Волна отхлынула, и я оказался в пенистой, кипящей воде, а рев прибоя переместился в сторону. Я окончательно пришел в себя и начал соображать, что же делать, но тут снова услышал приближающийся гул.

Свечение моря вблизи меня создавало впечатление полной темноты вокруг – точно такой же эффект наблюдается, когда сидишь у пылающего костра ночью. Но то, что я увидел, неожиданно, в каких-нибудь тридцати-сорока метрах от себя, врезалось в мою память на всю жизнь.

Это была гигантская волна с крутым, очень медленно падающим гребнем я никогда в жизни не видел таких огромных волн – мне казалось, что он даже чуть-чуть касается неба. Ее гребень был окружен светящимся ореолом, а вся волна была залита голубоватым сиянием от подошвы и до вершины.

Само собой разумеется, эта волна была не больше тех волн, которые рождаются с внешней стороны рифов во время крупной океанской зыби. Ведь я находился у самой ее подошвы, где вообще очень редко бывает наблюдатель. Но с моей точки зрения эта волна казалась гигантской и сказочной. Она двигалась очень и очень медленно и была фантастически красива. Я видел ее чуть-чуть сбоку, полностью был захвачен ее созерцанием и еще не подозревал об опасности. Линия ее изгиба была настолько совершенной, что казалась живой и одухотворенной, благодаря идеальным соотношениям высоты волны и гребня на ней. Обычно не очень высокие волны несут на себе слишком

крутой гребень, и он рушится прежде, чем линия изгиба достигает полного завершения.

Волна как будто стояла на одном месте и казалась сотканной из голубоватого сияния с многочисленными вкраплениями световых брызг. Чарующий изгиб ее гребня, как лебединая шея, продолжал сохранять свою совершенную форму – вода свободно переливалась через него, плавно стекая на склон небольшим водопадом света и танцующими языками пламени.

Внезапно я услышал глухой рокот справа от себя, повернул голову и понял: „Это конец“.

Водяная гора – иначе ее не назовешь – отчетливо вырисовывалась в темноте и двигалась прямо на меня, но так медленно, что в течение нескольких секунд я с ужасом, как замороженный, следил за ней. Однако волна не обрушилась на меня, как я невольно ожидал. Какая-то неумолимая сила потащила меня вверх по ее не очень крутому склону, прямо к самому подножью падающего гребня. Я инстинктивно схватился за маску с трубкой и успел сделать глубокий вдох. Гребень стал рушиться на меня, а затем меня затянуло под него. Какое-то мгновение я находился все еще в воздухе, прямо под гребнем, как в пещере. Потом мое тело оказалось в бушующем потоке воды – внутренние силы волны извивали меня винтом, переворачивали много раз через голову, крутили во все стороны, пока не ослабли. Я стал всплывать на поверхность, совершенно не представляя, как глубоко по водой я мог оказаться. Я успел лишь отметить про себя, что меня не ударило о риф и моя маска с трубкой находится со мной; я пошевелил ногами – ласты также были на месте.

У меня хватило дыхания добраться до поверхности, хотя – по моим ощущениям – я всплывал довольно долго. Я стал жадно глотать свежий воздух через трубку и наконец понемногу отдышался. В это время я увидел новую гигантскую волну на близком расстоянии от себя в ореоле света и голубоватого пламени.

– Где же риф? И сколько еще волн я смогу выдержать? – соображал я.

Волна приближалась очень медленно, царственно, торжественно. Я стал делать глубокие вдохи и выдохи, стараясь накопить больше кислорода в легких. На этот раз волна казалась мне гигантской змеей, которая, красиво изогнув шею, готовилась броситься на меня каждую секунду. В следующее мгновение я

был проглочен этой волной-змеей. У меня едва хватило дыхания дотянуть до поверхности – я дышал уж без всякой предосторожности, как утопающий, но все же успел прийти в себя, прежде чем заметил, как надо мной стала нависать третья волна.

Сначала я простился с жизнью, но потом сообразил, что нужно попытаться удержать тело на ее гребне и быстро принял горизонтальное положение, повернувшись спиной к ее фронту так, как делал это когда-то, в Черном море.

На этот раз волна быстро подхватила меня и понесла в своем падающем гребне с огромной скоростью на довольно большое расстояние – сначала вперед, а потом назад, когда она отхлынула обратно.

Я легко выбрался на поверхность и поплыл, не теряя времени, по направлению движения волн. „Где-то там, впереди, за рифами, должна быть лагуна“, – надеялся я.

Мне казалось, что следующая волна что-то долго не появляется, но потом я ее увидел. Это была уже не гора, а просто очень большая волна с крутым, падающим гребнем.

Я быстро принял горизонтальное положение в ее гребне, и она понесла меня далеко вперед, оставив почти на поверхности воды, так что мне было уже довольно легко отдышаться и подготовиться к следующей. Теперь я все время плыл по направлению движения волн – несколько раз они осторожно подхватывали меня на свои шумные гребни и продолжали нести вперед, все дальше и дальше от гигантских переростков с внешней стороны рифа.

Вдруг я почувствовал что-то твердое под ногами. Я мог стоять по грудь в воде. Вокруг себя я видел беспорядочное движение потоков воды, пены и фосфоресцирующих брызг. Не успел я прийти в себя, как подошла еще одна крупная волна и пронесла меня еще какое-то расстояние.

Теперь я стоял по пояс в воде. Но прежде чем я осознал, где я и что со мной, подошла новая волна и отнесла меня еще на несколько метров вперед. Теперь глубина воды оказалась чуть выше колен. У меня было достаточно времени сделать несколько неуверенных шагов, отдышаться и оглядеться.

Темное ночное небо. Безбрежный океан. На горизонте не видно ни одного огня.

Незаметно подкралась крупная волна, и я снова оказался на плаву. Когда она отхлынула, я попытался встать на ноги, но

на этот раз не смог нащупать дно. Я понял, что меня вынесло в лагуну – риф остался позади.

Вокруг стало непривычно тихо, глухой рокот океана слышался где-то за моей спиной.

Я огляделся. Кромешная тьма. Кругом – ничего, но где-то в центре лагуны должен быть остров, – подумал я. – Ведь это знает каждый школьник из уроков географии.

Первое время я плыл, пытаюсь удержать шум прибоя за спиной, но через полчаса, а то и более, это стало трудно делать – шум прибоя, казалось, слышался то справа, то слева, то сразу со всех сторон. Тогда я решил плыть так, чтобы шум прибоя все время удалялся.

Каждое мое движение сопровождалось вспышками голубоватого пламени, и я, возможно, был виден со стороны как неугасаемый, пылающий костер. Я заметил еще, что мой собственный свет, похоже, становится все ярче и ярче и основательно мешает мне видеть водное пространство впереди и вокруг меня.

Уже больше часа я плыл в лагуне. Было как-то непривычно двигаться среди этой внезапной тишины, на поверхности, гладкой, как озеро. Всплески воды при каждом неосторожном движении казались мне слишком шумными, и, как фальшивые аккорды, искажали нежную мелодию тишины. Я, наконец, мог снова поднять маску на лоб, отодвинуть трубку в сторону и получше оглядеться.

Я снова вспомнил об акулах. В первую очередь я осмотрел все обнаженные места кожи. Я мог легко различить каждую каплю воды и даже тонкий волосной покров на руках и на ногах. Никакой боли я не чувствовал, но знал по опыту, что в воде даже глубокая рана иногда не вызывает болезненного ощущения. Мне приходилось видеть, как под водой из раны выкатывались шарики крови: на глубине – они обычно черные, на поверхности – темнокрасные; затем они расплывались, превращаясь в мутные облачка – без малейшей боли.

Я заметил кровь на разбитом колене и перевязал его платком. Это случилось, вероятно, на рифе, когда я много раз карабкался в воде на его острые коралловые уступы.

Я знал, что в лагуне может быть больше акул, чем с наветренной стороны рифа, а еще неизвестно, как долго придется мне плыть к острову. Кровь привлекает иногда тех акул, которые обычно не нападают на человека. Я где-то читал, что в лагунах акулы не трогают местных жителей и нападают чаще на незнакомых пришельцев – точно так, как это делают деревенские собаки.

Внезапно у меня мелькнула странная мысль-догадка: „А что, если акулы просто боятся меня? Я, наверное, представляюсь им непонятным светящимся чудовищем. Ведь многие глубоководные обитатели моря имеют собственное свечение – ясно, не от хорошей жизни!“ Я снова надел маску, взял в рот загубник и взглянул вниз. Глубина в это месте не превышала десяти-двенадцати метров, и все дно подо мной излучало массу света, как будто я летел в самолете очень низко над ночным городом. Это были, несомненно, живые коралловые рифы. Я так много читал о них, мечтал увидеть хоть „одним глазом“, и вот они открылись передо мной во всей своей красе, неожиданно, среди ночи...

Шум прибоя слышался уже далеко, напоминая раскаты грома. Я плыл с большим трудом – кроме общей усталости я чувствовал, что мое дыхание стало учащаться: видимо, задержки дыхания на рифе дали себя знать. Я продолжал плыть вслепую, стараясь только удерживать шум прибоя за спиной.

Наконец, я увидел группу огней чуть-чуть слева от себя. Они приветливо мигали и, казалось, были не очень далеко. Мое дыхание все ухудшалось – каждые пятнадцать минут я пытался неподвижно висеть в воде, но это уже не помогало. Мне просто не хватало воздуха. Я жадно ловил его ртом и стал хрипеть. Глубина в этом районе казалась не больше пяти метров.

Вдруг я заметил справа и впереди вершины пальм на фоне темного неба. Они были гораздо ближе, чем те огни, на которые я ориентировался, и я направился к ним, – в огнях я окончательно разочаровался. Яркое свечение моего тела просто ослепляло меня, я уже едва мог видеть поверхность воды на расстоянии протянутой руки! Я неожиданно стал пугаться темноты впереди себя, что со мной случалось очень редко.

Прошло уже несколько часов с тех пор, как я покинул риф. Я чувствовал себя очень скверно и полагался только на силу воли. Мне стало казаться, что придется вечно плыть куда-то в неизвестность, а пальмы на фоне неба – просто мираж, как и те огни, что видны слева.

Наконец, когда я уже стал терять сознание и явно задыхаться, я в последний раз проверил глубину и... нащупал ногой что-то твердое. Я стоял по грудь в воде, не доверяя своим ощущениям... Впереди меня, насколько я мог различить, темнела вода лагуны. Место было мелкое, и мне пришлось долго брести по грудь, плыть снова, опять брести по поясу в воде.

В эти минуты я боялся акул больше всего на свете: „Если акулы сожрут меня сейчас, – я вздрогнул от этой мысли, – будет просто обидно!“

Я вышел на коралловый песок у подножия очень высоких пальм. За мной тянулся ручей светящейся воды, а мое тело сверкало, как бальное платье какой-нибудь красавицы.

Только теперь я почувствовал себя в полной безопасности. Океан остался позади, а с ним и все мое прошлое...

Тихо шелестели листья где-то высоко над головой. Среди редких облаков были видны яркие звезды. Справа и слева вдоль берега, насколько хватало глаз, стояли ряды высоких пальмовых деревьев - их вершины ясно выделялись на фоне ночного неба. Где-то там, по ту сторону лагуны, шумел рокот прибоя.

- Все же Океан любит меня... - не мог не отметить я. Мою душу захлестнуло ответное чувство, мое „Я“ внезапно расширилось и стало включать в себя огромное пространство. Я мог смотреть сверху на океан, на остров, я был среди облаков и даже ночное небо казалось совсем близким, стоит только протянуть руку - и коснешься. Я был каждым деревом, каждым цветком, я проносился ветром по верхушкам пальм, я был отражением звезд в зеркале лагуны. В меня вошла Одушевленная Тишина... Я боялся шелохнуться, чтобы не спугнуть ее...

Тишина незаметно ушла... Я почувствовал неодолимую усталость и тут же заснул на песке под пальмами.

Спал я недолго. Меня разбудили укусы муравьев и москитов. Мое тело продолжало фосфоресцировать, особенно мокрая одежда, и стоило мне только поднести ладонь к любому мелкому объекту, который я хотел разглядеть, я мог видеть его достаточно хорошо в своем собственном свете. Свечение тела затухало очень медленно - было удобно пользоваться им в ночной темноте.

Я находился в счастливо-невозмутимом состоянии. Мир стал для меня совершенно новым, загадочным и чудесным. Никакой ностальгии, которой я боялся, и в помине не было! Как будто я совсем ничего не потерял и не оставил в моей стране - а ведь я ее очень любил! Потом я всегда размышлял над этим чудом... Я сделал для себя потрясающее открытие! Все это произошло не постепенно, а сразу, и я прошел психологический барьер этой ночью. Я хорошо помню „себя“ до момента, когда я услышал внутренних Голос и поплыл на шум прибоя. Когда на меня обрушились гигантские волны, мне было не до самоанализа, но каким-то внутренним чутьем я ощутил, что стал совсем другим человеком.

Я чувствовал себя Робинзоном Крузо и уже был влюблен в свой остров. На нем было все, о чем только можно мечтать: высокие горы, богатая тропическая растительность и вокруг – теплый океан до самого горизонта! Огонь я сумею добыть, – размышлял я. Я делал это не раз в лесах моей северной страны. Еды – я был уверен – найду сколько угодно в джунглях и под водой в лагуне, а одежда мне просто не нужна – живут же дикари всю жизнь без одежды!

Сначала я найду укромное место и построю себе хижину – на острове должен быть бамбук, это самый легкий строительный материал. На крышу пойдут банановые и пальмовые листья. Потом я начну исследовать остров, начиная с побережья – каждую милую берега, каждую бухточку...

Я совсем размечтался... Я чувствовал себя обладателем сказочного тропического острова! Я шел по берегу лагуны и чувствовал себя счастливым первооткрывателем. Мне ужасно захотелось станцевать „сиртаки“, и я принялся танцевать тут же, на песке под пальмами.

Вдруг я увидел группу туземцев... Они, видимо, только что подошли.

Туземцы остановились и замерли. Ближе всех стоял невысокий, темнокожий человек в белой рубашке и светлых брюках. Он испуганно вскрикнул и сделал длинный прыжок назад, наступила продолжительная пауза...

В это мгновение я осознал, что нужно немедленно что-то сделать, чтобы убедить этих людей в моих мирных намерениях.

Я отбросил ласты и маску в сторону и поднял ладони с растопыренными пальцами – я где-то читал, что этот жест применяется среди каких-то племен, чтобы показать отсутствие оружия. Потом широким жестом я указал в сторону океана и сделал несколько плавательных движений руками.

Прошло две или три минуты молчаливого напряженного ожидания, прежде чем кто-то из туземцев стал медленно приближаться ко мне. Немного позже я узнал причину такого боязливого недоверия – все мое тело продолжало фосфоресцировать в темноте, и эти люди приняли меня вначале за танцующее привидение.

Напряжение быстро спало, и вокруг меня закружились дети – они всегда смелее взрослых.

Это была одна большая семья - отец и дети. Сначала они - все еще недоверчиво - притрагивались ко мне по очереди, потом заговорили все разом на каком-то непонятном языке, из которого я понял только одно слово „американ“.

Я стоял в кругу детей и глупо улыбался. Кто-то из них заметил на песке мои ласты, маску и трубку. Дети бросились к ним и стали с любопытством рассматривать. Девочка лет двенадцати спросила меня по-английски и по-испански, кто я и откуда. Я немного говорил по-английски, и скоро мы стали лучше понимать друг друга.

Посыпались бесчисленные вопросы. Почему-то они решили, что в океане произошло кораблекрушение, а я один из спасшихся членов экипажа. Меня все время спрашивали: „А где остальные люди?“

Я пытался объяснить, что корабль цел и невредим, это я один прыгнул в море.

Они никак не могли этого понять. Последовал невинный, а с моей точки зрения - глубокий философский вопрос:

- А зачем?

Мне стало смешно, когда я увидел себя со стороны. Что я мог ответить? Действительно - зачем? Этот вопрос прозвучал для меня так, как если бы меня спросили - зачем я живу на свете?..

Мы шли около часа, а может и больше, пока дошли до их дома, поднялись на высокое крыльцо и вошли внутрь. В доме не было электрического света, и кто-то из взрослых зажег керосиновую лампу.

Пожилая женщина - хозяйка бунгало - подала мне какой-то местный горячий напиток, и только отхлебнув несколько глотков, я почувствовал, как сильно хочу пить. Когда я выпил все, что оказалось в чайнике, хозяйка, несколько не удивившись, поставила на огонь целое ведро воды. Я продолжал пить стакан за стаканом, но от еды сразу отказался - полость рта была сильно воспалена от соленой воды и от загубника.

Мне сказали, что я нахожусь в поселке „Генерал Луна“ на острове Сиаргао. „Значит, в общем я не ошибся в своих расчетах, - думал я, - видимо, капитан изменил курс и отвернул от острова, поэтому и расстояние оказалось значительно больше, чем я ожидал“.

Время было далеко за полночь. Меня положили спать на кровати с противомоскитной сеткой.

Заснул я мгновенно, только коснувшись подушки.

Я проснулся и никак не мог понять, где нахожусь. Было совсем светло, лучи яркого солнечного света пробивались сквозь щели окон и полуоткрытую дверь.

Хозяйка помогла мне умыться из таза и поднесла стакан того же напитка.

- Почему меня так рано разбудили? - удивился я. Я начал ощущать, что в доме происходит какое-то непонятное суетливое движение. Хозяин дома вдруг предложил мне рубашку и полотняные брюки, которые мне были вовсе не нужны, но отказаться было просто неудобно, и я с благодарностью принял его подарок.

Каким-то внутренним чутьем я осознал, что нужно выйти на крыльцо этого бунгало. Внизу под пальмами я увидел большую толпу темнокожих людей - их было не менее двухсот, все они захолопали в ладоши при моем появлении и стали что-то кричать по-испански. Потом... мои глаза остановились на том, отчего я не мог не вздрогнуть всем своим существом... „Господи, ну почему я так глуп и наивен? Ведь я же мог уйти в джунгли той же ночью!“ Позади толпы я увидел зеленый джип и несколько людей явно в военной форме с автоматами за плечами. В толпе местных жителей образовался узкий коридор, и двое из вооруженных, офицер и солдат, направились ко мне.

Прежде чем сесть в джип, я оглядел окрестности и бросил последний, влюбленный взгляд на такие близкие, синие горы.

Прощай, мой таинственный остров!.. Я упустил свое неповторимое мгновение...

* * *

Судьба была ко мне благосклонна. Хотя я и провел пленником на Филиппинах полгода и даже полтора месяца просидел в тюрьме, но все это было лишь продолжением моих приключений - разве не мечтал я о чем-то подобном тогда, очень давно, когда видел перед собой неумолимый серый забор?

ЧЕЛОВЕК НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

Замечено, что злоключения человеческого рода несводимы лишь к злобе или испорченности. В валовом продукте наших бед основная масса приходится, пожалуй, на глупость и невежество. Но и после глупости остается некий фактор, вклад которого стал заметен в последнее время, когда утомленное злобой и невежеством человечество потянулось, наконец, к терпимости и просвещению. И по мере усиления этой, без сомнения благой, тенденции, провиденной и воспетой людьми, опередившими свое время, чувство безвыходности и какой-то даже обиды на самые основы мироздания только усилилось.

Наши достижения вдруг обернулись нашей *н е у м е с т н о с т ь ю* в окружающем мире, в котором мы расположились как оккупанты, как чужеродный и разрушительный элемент. Это тем более бидно, что мы сами *плоть от плоти* этого мира, и отчуждение от него оказывается отчуждением от самих себя. Наше бытие оказалось не только разрушительным, но и саморазрушительным, и искусственное затягивание средней продолжительности биологической жизни, скорее, обостряет трагичность ситуации.

Можно тешить себя надеждой, что выход будет найден на путях технического и социального прогресса. Хоть это и то же самое, как надеяться, что землетрясение, разрушившее город вначале, восстановит его в конце. Можно плюнуть и просто ждать, куда вывезет спираль. Можно на скорую руку реставрировать траченные молью идеалы. Но нельзя не видеть, что все это – симптомы глубочайшего разочарования человека в самом себе.

Оказалось, что материальное благосостояние и гражданские права не панацея от отупения, всеобщее образование – от бескультурья, досуг – от свинства. Даже там, где голодные накормлены, освобождены от изнурительного труда и имеют достаточно досуга для творчества, человек далек от прекрасного образа, рожденного человеческим воображением. И не то, чтоб человечество регрессировало, просто неожиданно бесчеловечным оказался сам его прогресс.

С тех пор, как человек осознал необходимость улучшения своего бытия, он шел путем исправления природы. Сначала религия пыталась исправить природу самого человека и... породила атеизм. Потом атеизм вдохновил человечество на исправление природы внешней и... результат оказался в чем-то аналогичным.

Наши надежды на лучшее устройство в мире связывались сначала с обетованием Бога, а в нашем веке с разумной деятельностью самого человека. На последней остановимся.

Что это такое – разумная деятельность?

Разум – это отличительное свойство человека. Но сверх того, он позволяет человеку п о н и м а т ь происходящее, а понимая, использовать для постановки и решения своих задач.

В чем состоит понимание происходящего? В знании законов управляющих событиями, не правда ли? Ведь бытие починается законам. Когда Архимед открыл закон Архимеда, он действительно смог определить удельный вес царского венца. И когда Дирак написал уравнение Дирака, электрон со знаком плюс не замедлил явиться в опыте. Или пример из живой природы: знание законов биологии позволило образовать даже человеческий эмбрион в нечеловеческих условиях лабораторной колбы.

Конечно же, наши знания законов природы все еще несовершенны. Вот они и совершенствуются. Углубляются понятия, пересматриваются принципы, уточняются формулировки. И вся эта деятельность совершается в одном, хотя и весьма широком, русле поисков закономерности.

То же справедливо, по-видимому, и для общественного бытия человека. Разве общественное благо, от Сократа до наших дней, не состоит в установлении и соблюдении законов? Пусть эти законы нуждаются в постоянном усовершенствовании, но соблю-

дение даже несовершенного закона предпочтительнее для общества, чем его нарушение.

Что же получается? Чем точнее отражают законы общественные процессы, тем они совершеннее и тем меньше поводов у членов общества их нарушать. Между тем, рост преступности в правовых государствах (о неправовых что и говорить!) показывает, что общество развитого законодательства не только интенсивно борется против самого себя, но и побеждает в этой борьбе. Похоже, что чем более законообразит общество свое бытие, тем ненавистнее становится самому себе.

Интересно, что подобная реакция человеческого общества на попытки упорядочить его в законодательном порядке совершенно аналогична реакции природы внешней. Ведь именно наши старания упорядочить внешний мир в какой-то мере разрушили его и восстановили против нас. Оказалось, что и внешняя природа не терпит **н а в я з а н н о г о** ей порядка. И это наводит на мысль, что тайна природы не в законах, а в чем-то другом.

Если подумать, то ни один из найденных нами законов природы не имеет смысла в нашем отсутствии. Да-да. Закон подразумевает наблюдателя и особые условия наблюдения. Ведь даже закон, устанавливающий периодичность восхода и захода солнца, не существует без наблюдателя и его часов. Это не означает, что с исчезновением наблюдателя исчезнет и солнце. Но без субъекта и его измерительного инструмента явление солнца над горизонтом перестанет быть вполне определенным, т.е. закономерным. Более того, чтобы явление солнца стало строго закономерным, условия наблюдения, включая инструментарий, должны быть заранее выбраны, подогнаны и тщательно соблюдены.

Другим фактором, сообщающим явлению закономерность, является повторяемость. Явление, наблюдавшееся лишь однажды, воспринимается нами как исключительное. Чтобы явление стало законным, нужно построить условия наблюдения таким образом, чтобы оно как можно точнее повторяло само себя.

Но ведь издревле известно, что в природе ничто не повторяется вполне. Стало быть, найденные нами законы имеют своим предметом не сами явления, но то, что есть в них повторяющегося. Ну, а то в явлении, что не поддается точному воспроиз-

ведению, отсекается как нарушающее чистоту опыта.

Следовательно, чем „чище“ опыт, тем меньше в нем остается от явления „неочищенной“, подлинной природы. И применение закона, найденного теоретически или в результате чистого опыта, к природе, как она есть, не может не вызывать в ней противодействия.

Это похоже на дрессировку медведей. Медвежья природа позволяет медведю стоять и на передних ногах. Но чтобы наблюдать это явление, нужны цирк и дрессировщик. Если же отпустить медведя обратно в лес, усвоенная им в цирке привычка наткнется на сильнейшее противодействие среды, и либо исчезнет она, либо исчезнет медведь. Другое различие между цирком и лесом – в том, что в цирке медведя кормят, когда он повторяет свой трюк, а в лесу точное повторение одного и того же приема приведет его только к голодной смерти.

Оказалось, не только фауна, но и неорганическая природа восприимчива к обучению вещам, которые ей, вообще говоря, не свойственны. Так, например, человек научил природу цепной ядерной реакции. (Сама по себе она знала только одиночный радиоактивный распад. Невольно напрашивается сравнение с ребенком из хорошей семьи, подпавшим под влияние хулиганов.)

Ведь что мы, в сущности, делаем? Вырываем из природы отдельные куски, п р е о б р а з у е м их таким образом, чтобы они в точности следовали некоторым правилам, а потом – сталкиваем их с целостной природой. Природа сопротивляется, и, в конце концов, одолевает плоды наших познавательных упражнений. А бывает, что гибнет сама, в том числе, и наша собственная природа. Как, например, в Чернобыле...

Однако, мы уклонились в сторону. Наша задача не в том, чтобы показать последствия применения наших знаний к природе (это уже и так достаточно очевидно), но в том, чтобы разобраться в сущности такого знания.

Вот, мы перечислили три неперемennых условия построения закона: наблюдатель, способ наблюдения, повторяемость, т.е. постоянство.

Природа, однако, упорно не желает сохранять постоянство и вообще что-либо в точности соблюдать. Однако, человек продолжает уточнять и обобщать свои наблюдения. И выясняется, что чем точнее и обобщеннее найденный нами закон,

тем менее реальную реальность он описывает. И чем более мы понимаем то, что трудно даже представить, тем менее мы понимаем то, что происходит у нас на глазах. Например, в управлении элементарными частицами в синхротроне мы достигли гораздо больших успехов, чем в управлении уличным движением. И разве не парадокс, что требуя точности и обязательности от природы, человек сам, даже при всем желании, не может удовлетворить этим условиям?

Чем же не удовлетворяет нас неформально наблюдаемая природа? И почему мы стремимся к формальным, но не наблюдаемым абстракциям?

А потому, должно быть, что неформальное наблюдение не содержит в себе **н е о б х о д и м о й** причины события. Можно наблюдать падение яблока, но нельзя наблюдать причину его падения. Даже если нам кажется, что мы заметили причину (например, ветер), то при некотором размышлении, она оказывается вовсе не необходимой. Ведь вот, другие-то яблоки не упали. А иные падают и при полном безветрии.

Стало быть, не то нас интересует, почему яблоко упало, а то, почему оно **н е м о г л о н е у п а с т ь**.

Мы упорно ищем в событии неизбежность. Как будто хотим загнать природу в угол, из которого она уже не выберется. В этой-то безвыходности природы и чудится нам совершенное познание ее. Между тем, будучи частью природы, мы не замечаем, что загоняем в угол самих себя.

Лучшим символом этого увлечения является, пожалуй, изящная запись математических уравнений с нулем в правой части. К этому-то нулю мы и стремимся, может быть, не вполне сознавая суть дела.

Прекрасная и ясная математика! Один плюс один равно двум, не правда ли? Скажем, одна комната и еще одна комната - вместе две комнаты.

А что такое **д в е** комнаты? Вы пробовали когда-нибудь **н а х о д и т ь с я в д в у х** комнатах?

Штука-то в том, что природа является нам не так, как она мыслится. Живая природа состоит из единств: из одного муравья и из одного муравейника, из одного дерева и из одного леса, из одного человека и из одного человечества, причем единством может быть и одно племя.

Конечно, лес, фактически, из деревьев, а человечество – из людей. Да чувства-то наши так устроены, что наблюдая дерево, теряют лес, наблюдая лес, теряют отдельные деревья. Чувство говорит нам, что дерево и лес суть явления различные. И если мы знаем, что они связаны между собой, то ни благодаря чувству, а благодаря разуму. Это он перекидывает недоступный чувству мост между единицей и множеством.

Но у разума есть свои ограничения. Например, для определения множества вещей нам достаточно одного слова (скажем, дерево). А вот, чтобы определить одно, конкретное, дерево, недостаточно даже его названия. Требуется множество слов, и тем больше, чем конкретнее определение.

Похоже, разум затрудняется с единичной конкретностью. Тогда как чувство, напротив, воспринимает именно и только конкретную единичность. Получается, что ясное для чувства туманно для разума, а что ясно разуму, то недоступно чувству. Итак, объявляя чувственный мир разумно устроенным, мы противоречим природе, в том числе и нашей собственной. Мир, пожалуй, не чужд разумности. Но до полной разумности ему, к счастью, далеко. Ведь став вполне разумным, мир перестанет быть чувственным, т.е. перестанет быть тем, что он есть.

Так же и человек, пытаясь стать в о л н е разумным, рискует перестать быть человеком.

Быть может, мудрое равновесие между разумом и чувством – это и есть человечность?

Допустим, мы одумались и поняли, что наши представления о мире должны сочетать как рациональный, так и иррациональный элементы.

А в какой мере? Где грань, за которой один из двух элементов получает опасный перевес?

Например, язык, как мы видели, склоняется к рациональности, поскольку его понятия более приспособлены к обозначению множеств предметов. Скажем, слово „камень“ обозначает вообще камни.

Согласие многих людей называть разные вещи одним и тем же именем, наводит на мысль, что связь между словом и вещью существует.

В чем же рациональность слова „камень“?

Должно быть в том, что оно позволяет нам выделить камни из всех не-камней. Однако, ведь в природе невозможно такое разделение. Это было бы равносильно собранию всех на свете камней в одну кучу.

Зато разум справляется с такой задачей почти без затруднений. Затруднения начинаются только тогда, когда мы хотим довести это отделение камней от не-камней до абсолюта. Тут-то и выясняется что абсолют и реальность – две вещи несовместные. И самое разумное – это оставить определению некоторую неопределенность, допуск.

Такая двойственность трудна. Она требует постоянного интеллектуального усилия, направленного на сохранение тончайшего равновесия. Гораздо легче отождествить одно с другим с помощью нехитрого интеллектуального лукавства, предполагающего пренебрежение подробностями.

Обширная сеть магических школ и академий разрабатывает теорию и практику связи языка и чувственного мира. Выпускаются ученые труды, присваиваются ученые степени, создается общественное мнение, собираются пожертвования... Далее рождается обобщенная теория о Слове как основе мироздания и многочисленные школы толкователей Слова обвиняют друг друга в своекорыстии и шельмовстве.

Если магия, а затем религия исходит из тождества слова и чувственного явления, то философия, а затем наука исходят из тождества чувственного явления и его рациональной модели.

Перенеся отождествление слова и явления на человека, религия, в свое время, отождествила живого человека со строго определенным набором слов. А поскольку разные общества выбрали разные наборы слов, даже минимальные различия в этих наборах разрушали абсолютность тождества. Отсюда родился фанатизм – реакция самосохранения тождества. Так естественная реакция самосохранения, свойственная человеку от природы была искусственно перенесена на то, что человеку от природы, несвойственно – на тождество чувственного и мысленного. И защита того, чего нет, обернулась уничтожением того, что есть. Живое отношение к человеку как индивиду было заменено абстрактным отношением к человеку как к „своему“ либо иноверцу.

Религия трудилась над второй, идеальной, тождественной

теории, человеческой природой и чуть-чуть не уничтожила первую и единственную человеческую природу. И, вот, рационализм, поставив себе задачу сделать окружающий мир разумным, построил вторую, основанную на теории, природу. Потрясенное своими успехами человечество, однако, начинает обнаруживать признаки паники. Ибо никогда еще не жило оно так хорошо и не чувствовало себя так скверно.

* * *

Хочу ли я сказать, что наука вредна? Ничуть не бывало. Наука естественна человеку, как присущи ему мышление и язык, вера и чувство. Вредно злоупотребление верой, чувством, языком, мышлением. Вредно противопоставление их друг другу. Безоглядное увлечение любым из этих свойств, абсолютизация и предпочтение одного всем остальным ведет к искажению всей природы.

Но где же, где оно, золотое сечение храма человечности?! Где абсолютная пропорция вечного блага?

Увы, ее нет. Горький опыт показывает, что абсолютным бывает только зло. И если мы будем стремиться к а б с о л ю т н о й пропорции, то результат можно предвидеть. Но если мы не будем ни к чему стремиться, результат можно предвидеть также. Чего предвидеть нельзя - это удивительных открытий сделанных по пути. Но для этого нужно не только стремиться, а и уметь вовремя затормозить.

Так, стало быть, неразумно было бы с нашей стороны взять, да и списать абсолют в утиль. Ведь и он, оказывается, каким-то образом входит в загадочность человеческой природы.

Что же это за сила, притягивающая нас к абсолюту, в каких бы облициях он нам ни являлся: в виде Бога или научной истины, первопричины или всеобщего блага? И почему такой прекрасный в теории он оказывается таким жутким на практике? По-видимому, дело в существенном различии между реальностью разума и реальностью чувства.

Недифференцированное единство, такое ясное для чувства, бросает вызов разуму своей загадочностью. Тайна единства приводит разум в действие. Но деятельность разума - это разложение единства. А цель его - п о л н о е знание, т.е. полное разложение единства и последующий синтез его из известных

деталей. Но синтетическое единство – это уже совсем не то единство, которое побудило разум к действию. Целостное знание, к которому стремится разум, оказывается разрушением предмета, данного в ощущении. Познание приводит к уничтожению предмета знания и к жесточайшему разочарованию, когда одержимость кончается и человек оказывается лицом к лицу с результатом умственного увлечения.

Разум ходит по кругу: тайна – знание – ничто, вызов – возмущение – отчаяние. Тайна возбуждает разум. Увлечение познанием приводит к интеллектуальному параличу. Точное знание, столь же страшное для природы, сколь непознанная природа страшна для разума, разрушает и объективный мир и его субъект, поскольку и он сам – часть объективного мира.

Но разум не может не познавать, и коль скоро мы им обладаем, хорошо бы научиться им пользоваться, а принимая в расчет, что абсолютная тайна, с которой начинается познание и абсолютное знание, к которому разум стремится, суть вещи несовместимые.

В состязании с тайной разум хитрит и даже плурует. Противопоставляя сущее и постулат, разум объявляет сущее злом, которое ему предстоит преодолеть, а свой постулат – добром, к которому следует стремиться. (Некоторые философы, например, пытались объяснить тайну религиозного чувства страхом дикого человека перед враждебной ему природой. Хотя на деле природа враждебна не дикарю, который знает ее чувством, но самому философу-рационалисту, который не знает ее чувством, но хочет познать разумом.

Совершив подлог сущего постулатом о нем, разум вовсе теряет интерес к сущему и начинает изучать собственный постулат, разъясняя его самому себе и постепенно теряя веру в его надежность.

И снова очередной идол разума низвергается в прах, и контуженное его падением человечество оказывается лицом к лицу с тайной бытия.

Лучшие мгновения доставляет нам взаимопроникновение знания и тайны. Когда мы вдруг замечаем тайну в том, что казалось известным, или внезапно прозреваем то, что казалось

непроницаемой тайной. В эти редкие мгновения, когда чувство и разум прекращают вражду и становятся соучастниками великого акта человеческого познания, только в эти мгновения прозреваем мы красоту бытия и нашу уместность в нем.

А потом опять все кувырком. Разуму мало проникнуть в тайну, он хочет рассеять ее совершенно. Как жадный Мидас обращал в золото все, к чему прикасался, так разум стремится все рационализировать, превратить в синтетическую абстрактную систему.

Так, бесчисленные комментарии и мелочные уточнения опустошили и мумифицировали Пророков. Так, богословие и схоластика обесчеловечили учение Иисуса. Так, в половодье узко-прикладных исследований утонула живая наука.

Кажется, нет у человечества иного будущего, кроме технического и социального прогресса. А когда-то казалось, что нет будущего вне религии. И значит, университеты разделят судьбу богословских школ.

Вторая природа, которую человек создал на костях и пепелищах природы первой и единственной, угрожает стать нашей собственной природой. Мир неудержимо наполняется синтетическими людьми, запрограммированными тарабарским языком на всеобщий стандарт.

Но чем больше их, тем ближе конец породившего их общества. Человек хиреет не только от загрязнения среды, но и от суррогатов мыслей и чувств.

Сказал некто негде: мы думаем, что мир надо исправить, а его надо увидеть.

Это не невозможно, если, конечно, разгрести мусор. Но требуется еще кое-что, а именно: иное зрение, точнее – иное мышление. А как мы только что видели, рационализм думал о себе, что он – новое мышление, а на поверку оказался вариантом мышления прежнего, вроде как „Новый завет“ в свое время оказался не таким уж новым.

Наш плюрализм – это всего лишь замена одного предрассудка несколькими предрассудками. И наша свобода – компромисс между ними. Мы скатываемся к предрассудку, как по наклонной плоскости, потому что разум,

как и чувство, предоставленный самому себе естественно стремится к полноте. Но полное знание – это и есть предрассудок. Предоставив разуму свободу стремиться к полному знанию, мы оказываемся в рабстве у рационального предрассудка так же верно и неизбежно, как оказываемся рабами предрассудка иррационального, дав полную волю чувствам.

Сравнивая то и другое, можно сказать, что рабство у разума, пожалуй, комфортабельнее, но зато и горше.

Предоставленное самому себе чувство населяет мир духами. Предоставленный себе разум наполняет его точными законами. Но в обоих случаях неадекватность реальности оборачивается нереальностью нашего собственного бытия.

* * *

Похоже, что мы все еще спим, господа. Обольстительные сны сменились кошмарами, стало быть, пробуждение близко. Но петух еще не прокричал. Что нам остается – это сознавать где-то в глубине, что мы все еще спим, и относиться к тому, что мы видим, с этой небольшой, но важной поправкой.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО „МОСКВА – ИЕРУСАЛИМ“

Тель-Авив 61440, п/я 44050, тел. 03-394525

предлагает

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. Трепет забот иудейских.

Изд. второе, исправленное. 207 стр.

Художественно-философская проза, запечатлевшая опыт духовной биографии еврейского интеллигента из России, его размышления об особенностях еврейского национального характера, о связи и противостоянии русской и еврейской истории, о судьбах русского еврейства.

Софья Гутникова

Сергей Шац

ЧЕЛОВЕК, ОКРУЖЕННЫЙ НЕПОНИМАНИЕМ

В КРУГЕ ПЕРВОМ

Пришло время поговорить о музыкантах у нас в Израиле. Скажем сразу: речь пойдет не о гастролерах с израильскими именами, заезжающих сюда на короткую серию блистательных концертов и потом снова покидающих нас. Мы не станем также рассказывать про выдающиеся успехи израильских музыкантов в мире или про наш славный Филармонический оркестр, которому уже десятки лет рукоплещут сотни тысяч любителей музыки. Мы не будем этого делать потому, что слишком часто в рассказах об этих успехах умалчивается то, что это по сути достижения совсем иных земель и краев. Филармонический же Оркестр – это некий экстерриториальный коллектив, который представляет собой скорее положительное исключение, нежели правило, описывающее истинное положение музыкантов в нашем государстве. Нет, речь пойдет о нас с вами, с детства играющих на каком-либо инструменте, достаточно преуспевших в этом и теперь пытающихся как-то существовать в Израиле.

Так как же живем мы, так называемые „музыканты средней руки“, „рядовые труженики музыки“? Попросим наших коллег-профессоров не обижаться, даже если их чувство собственного достоинства восстанет против понятия „музыканты средней руки“. С точки зрения нашей действительности, мы все – „средние“. Практически никто из нас не получает приглашений выступить на известных сценах, а если кто-нибудь и попадает туда, то лишь после тяжелой борьбы и в порядке „одолжения“. Сольные же партии с оркестрами – это неосуществимая мечта для

местных музыкантов. Любители музыки, не видя и не слыша нас „за работой“, делают вывод: значит, мы не выдерживаем конкуренции, следовательно, мы – музыканты „средней руки“.

Как же мы все-таки живем?

А вот так и живем – преподаем, бегаем с места на место, кое-как сводим концы с концами. Иногда сыграем концерт в какой-нибудь переоборудованной библиотеке или в каком-нибудь благотворительном заведении. Потом тихо примем конверт с двумястами шекелей или два месяца будем ожидать чека на сумму в девяносто три шекеля и четырнадцать агор (после вычета налогов). Кстати, концерту предшествовала напряженная подготовка, длившаяся никак не меньше месяца.

На этот концерт придут родственники и друзья музыканта, а также его талантливый ученик с родителями. Сначала родители ничего не заметят и будут продолжать посылать своего ребенка к учителю музыки, так как „каждый еврейский ребенок должен быть приобщен к культуре“. Но вот пройдет год, и педагог опять выступит с концертом в переоборудованном клубе для ветеранов. На этот раз родители начнут беспокойно озираться: неужели цель занятий их ребенка – если он в этом преуспевает, – а они ведь его побуждают! – достичь мастерства и выступать в переоборудованных конторах за девяносто три шекеля?! А где же атрибуты славы, сопровождающие выдающихся? Где вежливые журналисты, развернутые интервью с портретом, восторженные звонки знакомых и решение горсовета о посылке чада представлять город на декаде израильского искусства в дружественной Франции?! И – извините – где же деньги? Чадо очень быстро разберется в неуверенных чувствах родителей – ведь оно же талантливо! – и поскорее оставит музыку. Вздохнут с облегчением в глубине души и родители. Просвещенная мать со вздохом скажет супругу, что, дескать, „это не профессия“ и что даже мать немецкого композитора Роберта Шумана противилась занятиям сына музыкой, и это при солидном наследстве отца... „Принципиальный разговор“ педагога с родителями не поможет, как не поможет и дружеское увещевание чада. Чадо уйдет к футболу, к компьютеру или просто станет валяться на диване. Обиженный и уязвленный педагог с особым рвением возьмется за оставшихся учеников. Но те – в отличие от того, талантливо-

го, – к нему на концерты не ходят, а их родители и подавно не разбираются в музыке. Для них музыка – это своего рода снотворное („она успокаивает перед сном“), педагоги – это хронические неплательщики налогов, они сказочно богаты (по вечерам играют в кабаках), а Моцарт – это название шоколадных конфет. Один просвещенный член парламента недавно сказал: „Не каждый виолончелист – Моцарт“. (Иными словами, Моцарт – хороший виолончелист!)

Так вот, обиженный и уязвленный педагог до поры до времени будет продолжать заниматься с учениками, родители которых примерно так думают о нем и о его работе. Процесс придет к логическому завершению, когда и эти ученики уйдут. Педагог, конечно, родился не вчера и поэтому заранее позаботится о новых учениках: он шепнет о вакансии знакомым и родственникам, а то и повесит объявление на дереве. Так педагог завершит „эволюцию вниз“ и публично признает, что его мастерство не обладает достаточно притягательной силой. Он больше не будет удивляться, когда родители его учеников намекнут, что его урок стоит не восемьдесят, а двадцать шекелей, при этом ученик во время урока должен не просто играть мөнует Баха, но и нянчить младшего братишку, а также сварить ему суп. Однако педагогу нужно есть, и поэтому он либо согласится на эти условия, либо пойдет убирать квартиры. Если он пойдет убирать квартиры, то пятнадцать лет учебы (это больше, чем у врачей) и вся последующая практика останутся лирическим воспоминанием. Если же он НЕ пойдет убирать квартиры, то пятнадцать лет учебы и все дальнейшее превратится в насмешку. Находясь в глубоком смятении, созерцая отлив учеников, педагог заинтересуется: что же пишет об этом положении наша профессиональная печать? Наверно, есть у нас какая-нибудь „Наша сионистская музыка“, или „Эхо лиры Давида“, на худой конец – „Ведомости Профсоюза музыкантов“... К своему удивлению, педагог обнаружит, что ни „Сионистской музыки“, ни „Лир Давида“, ни какого-либо другого издания, где бы обсуждались проблемы работы наших музыкантов нет ни на одном из сорока семи языков Израиля. Педагог, знающий иврит, полистает последние номера каких-то местных музыкальных бюллетеней. вышедших неясно когда, и обнаружит там три типа информации:

1. Как пианист Артур Рубинштейн покорила публику в Аргентине в 1926-ом году (воспоминания пожилой гражданки).

2. Какие новые иностранные диски заслужили похвалу в иностранных журналах.

3. Какое письмо написал композитор А. Скрябин пианистке Т. Шлетцер в 1903-м году.

В приложении он прочтет имена новых лауреатов конкурса в Швейцарии. Если же педагог действительно дотошный, то он найдет также вестник, в котором местные израильские композиторы объясняют, как было сформулировано первое звено серии, положенное в основу нового опуса. Педагог поймет: композиторы переговариваются с вечностью, а не с ним.

После всего этого педагогу ничего не останется, как побегать на базар (ведь уже настал вечер, и продукты подешевели).

Придет день, когда бывший однокашник педагога приедет из Монреаля и сыграет концерт норвежского композитора Эдварда Грига под аккомпанемент Иерусалимского симфонического оркестра. Не будем обсуждать, как именно гость из Монреаля играет Грига, не будем вспоминать, что в молодости наш педагог играл этого Грига ровно в два раза выразительнее, – это сейчас неважно. Важно то, что гость из Монреаля прилетел по оплаченному авиабилету и остановился в фешенебельной гостинице Иерусалима с видом на Старый Город. К гостю вежливо обращается девушка из "reception", а молодой, спортивного вида человек в синем пиджаке несет его чемодан.

Наш педагог поднимется к гостю в номер, и в тихую лунную ночь на балконе девятого этажа они, попивая шампанское, будут говорить „за жизнь“. Очень быстро окажется, что гость из Монреаля невероятно занят, он преподает то ли в чем-то Королевском, то ли в чем-то Государственном. К тому же он постоянно разъезжает: недавно был в Германии, а уже через неделю его ждут в штате Канзас, „где река Миссисипи особенно широка и красива“.

В порыве чувств наш педагог говорит, что „взамен всей этой мишуры отобрел Родину“ и что он себя здесь „прекрасно чувствует“. Так как гость из Монреаля – тоже еврей, то, будучи не в состоянии возразить, он умолкнет. Естественным образом разговор перейдет на политику. Вот тут наш герой почувствует

прилив сил. Он расскажет однокашнику о жизни в Израиле, о постоянной борьбе с арабами, о жертвах и о самопожертвовании израильтян. Гость из Монреала будет вежливо слушать. Наш педагог перейдет к критике правительства. Первая лавина обрушится на „прежнее“, левое правительство, преступно отдававшее „пяди родной земли врагам“, а взамен получавшее террор и реки крови собственных граждан. Но это чудовищное правительство было сметено гневом народа, и пришло более нормальное, правое правительство. Педагог переведет дух. Гость из Монреала будет задумчиво смотреть на стены Старого Города. Потом наш педагог займется атакой на теперешнее, „нормальное“ правительство, объявив, что и оно – трусливо и наводнено предательскими элементами. Гость из Монреала нежно посмотрит на своего друга-педагога. Педагог вздохнет и скажет (благо они говорят по-русски): „Зажимают они нашего брата, вздохнуть не дают...“

Гость из Монреала украдкой посмотрит на часы, но так, чтобы друг заметил. Друг заметит и устало встанет. Потом медленно пойдет к остановке автобуса. В автобусе будет жарко и шумно, и водитель будет слушать новости. Педагогу еще трудно понять, о чем говорят эти дикторы, но в конце концов он догадается, что речь идет о новой перестрелке в Ливане. Будем надеяться, что обойдется без жертв.

Педагог еще раз глубоко вздохнет и подумает о завтрашнем дне. Завтра начнется новый круг... Педагог в последний раз подумает об однокашнике из Монреала, отбывающем послезавтра самолетом авиакомпании „Люфтганза“ в Канзас (через Фракфурт-на-Майне). Потом он умоется, наденет пижаму и ляжет в постель.

Вы уж извините, мы с вами подсмотрим, что ему приснится. Будьте спокойны: ничего неприличного. Вообще, сны – самая благопристойная вещь, в отличие от мечтаний, не правда ли?.. Так вот, – нашему педагогу приснится, что он должен выступать в Монреале с симфоническим оркестром и исполнять знаменитый Первый концерт Чайковского. Он уже во фраке (фалды с непривычки путаются в ногах), стоит у выхода на сцену. До него доносятся звуки из зала: он чувствует, что собралось очень много (видимо-невидимо) народу. Но публика не молчит, затаив дыхание. Нет, она шумит, наш герой слышит, как выкрикивают его имя, кто-то издевательски смеется, некоторые группы нерешит-

тельно аплодируют, но аплодисменты коротки и быстро смолкают, а издевательские выкрики усиливаются. Почему-то поднимается сильный ветер и слышатся выстрелы. Появляется бывший однокашник нашего героя – теперь он выполняет роль работника сцены, хотя он тоже одет во фрак. По-мефистофельски скалясь, он почтительно склоняется перед нашим героем, приоткрывает дверь, ведущую на сцену и говорит: „Прошу!“. Наш герой замечает теперь, что у его однокашника на голове маленькие серые кривые рога. Все же он выходит на сцену и видит перед собой рояль. И в эту минуту он осознает, что забыл музыку... – он беспомощно оглядывается и видит в дверях кровавый оскал своего друга. В холодном поту наш педагог просыпается, долго ворочается, потом сосет валидол и устало засыпает снова, на сей раз без снов.

Раз уж мы с вами столь пристально пригляделись к нашему педагогу, попробуем растолковать привидевшееся ему во сне, конечно, весьма приблизительно. Итак – о нашем герое. Он уязвлен гастролями своего преуспевающего однокашника. Более того, он видит, что Израиль предпочитает ему приезжего монреальца, хотя тот – точь-в-точь такой же еврей, как и наш герой, только вместо того, чтобы репатрироваться в Израиль, он, повернувшись к нему спиной, поехал в Канаду, и вот теперь Израиль принимает его в роскошном зале и за большие деньги. А наш герой, репатрировавшись в Израиль, играет в мебелированных комнатах за девяносто три шекеля и вешает объявления на деревьях. За сионизм нашего героя сионистское государство награждает его триумфальной суммой в девяносто три шекеля, а „позорного не-сиониста“ принимает с почестями.

Наш педагог чувствует, какая злобная шутка сыграна с ним в ответ на его чистосердечный порыв приехать в Израиль, чтобы строить еврейское государство. Озлобленность нашего героя превратила его друга-монреальца в Мефистофеля, смеющегося над ним, таким чистосердечным и благородным... Перейдем к другому элементу сна. Что значит этот несвойственный даже израильскому концертному залу шум и гам? Это, господа, впечатление нашего героя от Израиля в целом, полученное в результате лицезрения репортажа о недавнем съезде партии Ликуд. Тем, кто не видел этого репортажа, напомним, что в

большом помещении собралось примерно тысяча четыреста человек, большинство из которых сидело на пластиковых стульях, а остальные стояли на них. Собравшиеся что-то вопили вразнобой, некоторые группы время от времени нерешительно аплодировали а потом умолкали. Отдельные люди что-то выкрикивали в микрофон, но из-за общего шума ничего нельзя было разобрать. Некоторые ходили между стульями и размахивали руками, иногда касаясь лиц и туловищ других людей. Кое-кто сидел с отрешенным взглядом.

Видя все это, наш герой очень расстраивается. Он любит эту партию, и хоть на последних выборах голосовал не за нее, он все же считает, что эта партия – оплот мощи и непоколебимости нашей отчизны. В последнее время, правда, наш герой заметил, что и эта партия проявляет душевную слабость, и теперь время от времени ему приходится осматриваться в поисках более мужественной партии.

Впрочем, мы несколько отвлеклись.

Во сне у нашего героя шумел и гудел концертный зал. Это – и образ „Израиля-в-целом“, и образ публики, пришедшей на концерт слушать музыку. Способна ли такая публика услышать музыку? Подсознание нашего героя говорит ему, что нет, не способна. Иными словами, дело, которому наш герой посвятил свою жизнь и которым гордился, оказывается ненужным в этой обстановке. Следовательно, не нужен и сам герой.

Теперь перейдем к решающему пункту.

От чего просыпается наш герой?

Он просыпается от того, что не помнит начала Первого концерта Чайковского, своего любимого произведения. То есть, наш герой потерял самого себя, и тут уж без валидола не обойтись...

...Оставим теперь нашего героя досыпать – завтра его ждет тяжелый день. Дай Бог ему немного радости.

Попытаемся разобраться, что же с нами, музыкантами, происходит. В прошлые времена жили мы в СССР и тянулись к музыке, как к чему-то великому, важному. Мы чувствовали, что официальная доктрина – недобра, цинична, лжива, что человек – это маленький винтик, призванный обслуживать систему и руководящую элиту. В атмосфере отчужденности музыка служила возвышенной отдушиной. Но „служение музыке“ не было лишь неким тайным диссидентством. Музыка, особенно „классическая музыка“, находилась на той территории, которая одновременно

признавалась государством и – как уже было сказано – служила тайным причалом для тех, чья душа страдала от засилья официальной лжи.

Поэтому мы могли всей душой отдаться музыке как профессии, и, „дыша свободно“, продвигаться по профессионально-иерархической лестнице, которую нам предоставляло государство.

Впрочем, мы *мало задумывались* над этим. Бесчисленные препятствия на пути к овладению искусством, бесчисленные отборы, критические замечания и окрики педагогов, строгие конкурсы – все это было настолько трудно, что мысль о том, зачем это надо, отступала на второй план. Мы чувствовали, что работаем в важной для государства и нужной людям области, и этого было достаточно. Мы также видели, что среди выдающихся музыкантов много евреев – Ойстрах и Коган, Гилельс, Гинзбург (Григорий Романович) и Гринберг (Мария Израилевна), а за границей – Яша Хейфец, Артур Рубинштейн и Григорий Пятигорский, Иегуди Менухин, Исаак Стерн и Артур Шнабель, и наши сердца переполнялись гордостью „за своих“, – и за музыку. Мы не особенно обращали внимания на то, что с особой любовью играем музыку композиторов не-евреев. В самом деле, ни Бах с сыновьями, ни Моцарт, Гайдн и Бетховен, ни Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Брамс и Сезар Франк, ни Глинка, Верстовский, Даргомыжский, Лядов, Чайковский, Скрябин и Рахманинов, ни Прокофьев, Шостакович, Устольская и Губайдуллина, ни Хренников, Майборода и Гулак-Артемовский – никто из них не еврей. Даже Эдвард Григ, Эдвард Эльгар и Морис Равель не евреи. Убедительно просим, умоляем читателя не приводить в качестве аргумента Мендельсона... Да, были Мендельсон, Малер и Шенберг – звезды самой большой, мировой величины. Все родились евреями, это правда, и можно даже утверждать, что с переходом в другую веру они не меняли своего психологического настроя, и следовательно, оставались евреями. Мы согласны. Но какое место в общем репертуаре музыкантов (если они не дирижеры) занимают произведения этих композиторов?! Видел ли вы когданибудь ребенка, упражняющегося на произведениях Малера?! Шенберга?!! Давайте скромно признаем, что мы всегда стыдливо любили только Мендельсона и пытались убедить себя, что это из-за недостаточно развитого вкуса...

Итак, о композиторах не-евреях. Эти люди воплощали в своей музыке дух и идеи христианско-европейской цивилизации, которая даже в своем гуманистическом варианте очень далека от традиционного еврейства. Да, „гуманистический вариант“ европейской цивилизации открыт для евреев, но не как для представителей еврейства, а как для отошедших, покинувших его. Знаменитые еврейские музыканты-евреи – „наша городсть“ – это европейцы с сомнительными репутацией и лояльностью, которым либералы не-евреи позволили занять эти позиции. Можно ли сказать, что евреи-музыканты отождествили себя с гуманистической культурой и цивилизацией Европы, композиторов которой они так любят? Безусловно, да. Лицом и сердцем обращенные к гуманистическому крылу Европы, музыканты-евреи не изменили своих ощущений ни после Гитлера и падения Рейха, ни после Сталина и крушения Империи. Но все-таки они что-то изменили. Они изменили место жительства.

Теперь заменим слово „они“ словом „мы“.

Мы приехали в Израиль. Мы поверили Герцлю, что можно собраться вместе, и уже здесь, в свободном государстве, оставаться самими собой, на новой, свободной основе протянуть руку европейской цивилизации.

Мы понимали, что наше свободное государство придется защищать – арабы нас здесь не хотят, – и что нам придется проливать кровь. Но государство, к которому рвалось наше сердце (или в которое мы приехали нехотя, от безвыходности) было призвано позволить нам остаться самими собой, не вызывая при этом ненависть и преследования.

А что у нас получилось?

Сон нашего героя выявляет, что, оставшись наедине друг с другом и обнажив те черты, которые нас, евреев, объединяют, мы потеряли нужду в европейской цивилизации, даже в ее гуманистическом варианте. Нас, как евреев среди евреев, не интересуют ни „виолончелист-Моцарт“, ни Бетховен, ни Софья Губайдулина. Религиозных среди нас все больше интересуют обряды, запреты и их трактовка на основе талмудической литературы.

А что интересуется нерелигиозных людей? Либо деньги, поскольку жизнь у нас в Израиле нелегкая, соблазнов много, а меркантильные устремления подхлестываются мощной рекламой и совершенно естественным желанием „жить не хуже других“.

Либо – людей привлекает власть.

Есть и еще одно: душу человека может заполнить патриотизм. Человек может проникнуться интересами государства, как он их понимает, он начинает ходить на демонстрации, кидать камни и обзывать оппонентов предателями. Уже доказано, что патриотизм особенно эффективен для заполнения душевной пустоты.

В такой атмосфере людям не хочется читать, смотреть спектакли, слушать музыку и размышлять о том, какой жизни им бы хотелось. Ведь только они начнут размышлять, как сразу наткнутся на мысль, что жизни как таковой – с интересом к деятельности других людей, с интересом к их мнениям, к их творчеству – такой жизни у нас нет. Нам неинтересно жить среди нас самих, среди евреев. Скучно. Иногда мы даже презираем себя как народ – в глубине душе, конечно... И вот жажда власти, денег, а также патриотизм и религия – древние, почти инстинктивные побуждения, воспринимаемые интеллигентными людьми как дополнительные, в нашей жизни стали главными, превратив нас в черствых, вспыльчивых, раздраженных и нетерпеливых эгоистов, а нашу жизнь – в сумасшедший дом со множеством несправедливостей.

В КРУГЕ ВТОРОМ

Вернемся к нашему герою-музыканту.

Он уже убедился, что его работа в Израиле – как преподавательская, так и исполнительская – это не более чем движение по инерции, начатое в СССР. Когда-то, „в былые времена“, он заседал в экзаменационных комиссиях и позволял себе критиковать недостаточно подготовленных учеников и студентов словами типа „бездарь“, „невежество“, „ему/ей надо бы руки-ноги переломать“. Его коллеги, принимавшие участие в обсуждениях, с готовностью соглашались с ним, добавляя, что, мол, „он/она-двумя-пальцами-подряд-сыграть-не-может“. Какой-нибудь одинокий инакомыслящий педагог – чаще всего тот, кто преподавал обсуждаемому ученику, – покидал помещение, гневно стукнув дверью, а то и получал инфаркт. Участники обсуждений были искренне убеждены, что „осуществляют справед-

ливость“, отсеивая из круга учащихся профессионально-непригодных. Учащихся было много, профессия была престижной, и каждый серьезный музыкант считал своим святым долгом „стоять на страже“ высокого уровня музыки.

„Охранять музыку“ помогали конкурсы, предоставлявшие право на исполнительскую деятельность считаным единицам и тем самым создававшие мистическую атмосферу вокруг лауреатов, которые, кстати, были еще очень молоды (до тридцати лет).

Начиная с семидесятых годов, некоторые „надежные“ молодые лауреаты стали выезжать за границу и вкушать то, что было недоступно рядовым советским гражданам. Возвращаясь на родину, они давали интервью, в которых беззаботно рассказывали о сотрудничестве с великими музыкантами Запада, чья слава уже успела проникнуть в СССР и удесят�ерялась благодаря „железному занавесу“. Все это превращало молодого исполнителя в сверхчеловека, а музыка под его пальцами становилась провозвестником мира гигантов и титанов (а иногда и циклопов). Уже тогда, в семидесятые годы в СССР, наш герой высказывал опасение, что „конкурсомания“ ни к чему доброму не приведет, так как она искажает истинный, человеческий дух музыки. Ведь не устраиваются конкурсы актеров и писателей, скульпторов и живописцев... В крайнем случае, организовывались конкурсы произведений на заданную тему или на определенный формат, но даже в таком случае НЕпремированный участник все же мог продолжать играть в театре, ваять или писать...

Однако, наш герой не мог бороться с музыкальными конкурсами, ведь в них была заинтересована система, кормившая его. Кроме того - размышлял педагог - а какие могут быть альтернативные формы организации музыкального исполнительства? Он, правда, смутно помнил, что его кумиры: Рахманинов, Бузони и Бакхауз, Хейфец, Мөнухин и Пятигорский, Стерн, Горовиц и Гульд, Зара Нельсова, Леонард Роуз и Джеймс Голуэй, и главное, главное - Артур Рубинштейн - далеко не всегда побеждали на конкурсах. Но как, как, черт возьми, протекал их путь к славе? - этого он не мог понять и возвращался на заседания в конкурсных комиссиях, за что получал трепетное уважение со стороны талантливых конкурсантов, их педагогов и их затаившихся в душевном напряжении родителей.

Наш педагог чувствовал, что вся его деятельность (как и дея-

тельность его коллег) являлась своего рода надстройкой на фундаменте, заложенном еще в девятнадцатом веке. Именно тогда, на протяжении почти восьмидесяти лет, усилиями князей Виельгорских, братьев Антона и Николая Рубинштейн, господ Беляева, Мамонтова и Надежды фон Мекк. Стасова, Римского-Корсакова и многих (но не очень) других людей высших сословий произошло проникновение западной музыки в Россию. Со звуками Бетховена, Берлиоза, Шумана и Листа пришла атмосфера западно-европейской цивилизации, ставшая впоследствии краеугольным камнем русского общественного бытия. Да, ей противостояли другие, часто противоположные тенденции. Но именно прозападная тенденция стала покровительницей музыки и музыкального образования, как бы этому ни противились господа Балакирев, Мусоргский и их коллеги по „Могучей кучке“, а также славянофилы в других сферах деятельности. Музыкантам-евреям „западничество“ внушало также надежду на профессиональное, а потому и гражданское, равноправие и освобождение от многовекового страха перед насилием.

Но долгожданное освобождение не пришло, и вот мы очутились здесь, в Израиле. Наш педагог видит, что ни за период государственности (пятьдесят лет), ни за время активного сионизма (сто лет) в Израиле не возник „общественный настрой на музыку“. Об этом ему с горечью говорят пожилые музыканты, приехавшие в тридцатые годы из Германии. Об этом ему со смехом сообщает друг-однокашник из Монреаля.

Наш педагог обращается к повести Юрия Нагибина, герой которой долгое время считал себя евреем, и читает там:

„Дайте мне ваш нос, ваши темные глаза, вечный двигатель вашего юмора, ваш дивный музыкальный слух – за одно это готов повесить свитки Торы в своей комнате, вашу безунывность, наглость и смирение. Но дать мало, надо кое-что отобрать. Так отберите у меня жест молитвы, большую любовь к природе – она ведь не нужна? – и слезу о Христе. И я навеки ваш“.

Видя, как писатель обменивает христианские „слезу и любовь к природе“ на еврейские „слух, юмор, безунывность и наглость“, педагог спрашивает себя: „Какие из этих качеств питают музыку?“ – и виновато признает: слеза о Христе и любовь к природе...

Неприятная дрожь пробирает нашего педагога – значит, неспроста горюют старики из Германии, неспроста наиболее даровитые еврейские музыканты („ваш дивный музыкальный слух“)

остерегаются Израиля, как огня. Педагог вдруг понимает, что его место как музыканта только среди европейцев-христиан.

А может, Нагибин ошибся?

Наш герой листает печально-знаменитую статью Рихарда Вагнера „Еврейство в музыке“ и видит, что вердикт о вторичности, оригинальности еврейского музыкального творчества выносит тут, причем с удвоенной силой гения и антисемита.

Эмные волны ужаса захлестывают нашего героя. Вся история еврейского народа вдруг представляется ему в ином свете. Может, прав был Иегошуа га-Ноцри? Наш педагог беспокойно пытается сообразить, а что же является сердцевиной еврейского самосознания? Чем глубже он погрузится в этот вопрос, тем отчетливее почувствует, что „быть евреем – это быть беззащитным пасынком разных стран и народов“ (перифразируя того же Нагибина).

Глубинный гнев всколыхнет душу нашего героя. В который раз он испытает прилив воинственного патриотизма и загорится желанием доказать себе и всему миру, что, мол, „еврей не боится“. Если бы возраст ему позволил, он бы встал в первые ряды бойцов против... – и доказал бы, что извечное клеймо отверженности, пресмыкательства и страха изжито раз и навсегда. Если бы возраст ему позволил...

А так, придется воевать молодым. Ну ничего, на то они и еврейские воины. Теперь пришел их черед защищать честь евреев...

Так наш педагог стал „правым“. Его больше не интересовал тот факт, что Израилю не под силу осуществить вполне эту гордую идеологию. „Израиль должен отстаивать свои позиции – так диктует педагогу новоприобретенное чувство гордости и патриотизма, – а если он не сможет их отстоять, то, значит, ему и не надо существовать...“ Все приходящие обстоятельства – судьба сограждан и неизбежность огромных жертв – его уже не интересуют, этим пускай занимаются специалисты из генштаба, а если и они не в состоянии – их надо прогнать и назначить таких, которые пообещают решить все проблемы. Подумав так, наш герой обретет душевное спокойствие. Все будет хорошо до тех пор, пока число учеников, приходящих к нему на уроки, не снизится настолько, что нависнет угроза голода (ведь спад интереса к музыке в условиях „патриотизма“ и культурно-экономической изоляции уже налицо). Нашему педагогу за

шестьдесят, переквалифицироваться в управдомы он не может, ходить по домам и преподавать шестилетним карапузам игру на электроорганах он тоже не в состоянии. Ужас вновь воцарится у него в душе, и тогда, в холодную иерусалимскую ночь ему приснится еще один сон.

Он увидит себя в большом, плохо освещенном зале, в длинной-предлинной очереди. Вокруг него толпятся плохо одетые люди со старыми чемоданами и авоськами. В зале стоит тихий гул. Наш герой почувствует, что все стоящие в очереди – евреи. Очередь будет медленно продвигаться, и вскоре педагог увидит, что он приближается к столу, за которым сидят три бородатых чиновника. Перед каждым из них табличка с их именами и фамилиями. В сутолоке очереди педагогу будет трудно разглядеть фамилии чиновников, но имена он сможет прочесть:

чиновник Даниил,
чиновник Гавриил,
чиновник Михаил.

Педагог поймет, что это очередь к своего рода паспортному контролю и увидит, что прошедшие контроль расходятся в разные стороны. Он почувствует, что направляющихся вправо ожидает какая-то жуткая участь. В это время к нему подойдет девушка с папкой в руках и станет расспрашивать, откуда он приехал, что находится у него в чемоданах и кто их паковал. Педагог ответит, что он приехал из Свердловска, что в чемодане – ноты и белье, и что чемодан паковала жена. Девушка наклеит на чемодан желтую наклейку и пропустит нашего героя дальше. По мере приближения к столу с чиновниками, педагог начнет все больше волноваться. Он примется сравнивать чиновников и почувствует, что Михаил – наиболее приятный, Даниил – средний, а к Гавриилу – упаси боже попасть.

Наш педагог попадает к Даниилу.

„Имя!“ услышит он окрик Даниила и назовет себя.

„Профессия!“ – последует следующий вопрос. Наш герой ответит:

„Музыкант-педагог“.

„Национальность!“ – загремит третий вопрос.

Педагог замнется.

„Лицо еврейской национальности“, – промямлит он нерешительно.

„Откуда приехали?“

„Из Свердловска“.

„Любимый композитор!“

„Ч-чайковский“.

„Прошу пройти за мной!“ – провозгласит чиновник Даниил так, что эхо отзовется в зале, и поднимется из-за стола.

Съездившись от страха, педагог пойдет за чиновником. К облегчению нашего героя, они пойдут не вправо, а в какую-то боковую комнату, где допрос продолжится.

„Зачем вы лжете? Вы приехали из Иерусалима!“ – проскандирует чиновник Даниил.

„Нет, нет, я из Свердловска“, – запинаясь промямлит наш герой.

„Вы из Иерусалима. И у вас больше нет любимого композитора! – постановит Даниил. – Вы лжец и пойдете вправо!“

Вдруг за спиной чиновника появится монреалец-Мефистофель, схватит нашего героя за руку и потащит вправо. Наш герой увидит двух евреев в пальто, которых уже толкнули туда. Потом он увидит, как пальто этих евреев замелькают в огромных языках пламени, а самих евреев уже не будет видно. В последний момент наш педагог ощутит себя верхом на Мефистофеле, увидит его серые кривые рога и почувствует, как приближается к пламени. Когда жар станет нестерпимым, он в ужасе проснется (и затушит лампочку, которую забыл выключить перед сном).

Прежде чем комментировать сон отметим, что наш герой в эту ночь больше спать не будет. Поворочавшись с полчаса в постели, он поднимется и пойдет на кухню размышлять. Он почувствует, что на сей раз ему приснился сон, в котором скрывается какая-то инструкция, какое-то предупреждение. Присоединимся к нему и попробуем растолковать сон.

Герою привиделся аэропорт, паспортный контроль, а также контроль по безопасности (девушка с папкой и желтыми наклейками). Три чиновника – это чиновники абсорбции. Большой темный зал – это и зал приема новых иммигрантов аэропорта имени Бен-Гуриона, и образ иммиграционного зала на острове Стэйтен близ Нью-Йорка, куда направлялись еврей-беженцы из России в начале века (одежда людей свидетельствует в пользу исторического американского варианта. Наш герой видел снимок иммиграционного зала на острове Стэйтен в посольстве США в Москве в ту пору, когда думал ехать в Америку). Помимо всего прочего, во сне присутствует элемент из описания Катастро-

фы – селекция и гибель в огне. Это и придает сновидению столь драматичный характер.

Но за всем этим стоит совершенно иная картина. На самом деле герой предстает перед судом трех архангелов – Михаила, Даниила и Гавриила.

Допрос нашего героя судьей „средней строгости“ говорит о том, что педагог себя ощущает человеком невыдающимся, „средним“, и причисляет себя в таком качестве к большинству знакомых ему людей. Критерий „большинства“ означает, что педагог – конформист. Перед судом предстают принципы его жизни, и педагог обязан говорить судье „правду, только правду и всю правду“. И в этот момент особенно важно знать, кого считает наш герой подлинным, настоящим судьей. По ответам – „Свердловск“, „Лицо еврейской национальности“, „Чайковский“ – можно понять, что в подсознании наш герой – советский человек и предстает перед советским судом. И все же подсознание педагога обогатилось израильскими ощущениями. Они проявляются и в том, что архангел уличает педагога во лжи („Вы из Иерусалима“), и в том, что сам педагог признает правоту Даниила, понимая, почему его ведут „вправо“, то есть в ад. Но почему ад именно „справа“? Да потому, что в жизни наш герой расценивает себя как „правого“, т.е. политика стала важной в его глазах, тогда как музыка, главное богатство его души, перестала его занимать. „У него больше нет любимого композитора“, по обвинительному приговору Даниила. То есть, „правизна“ нашего героя сопряжена с опустошением души – отсюда и следует прямой путь в ад.

Утро наш педагог встретит на кухне в раздумьях. Он решит, наконец, распутать сеть непонятных чувств и мыслей, в которую он попал. Впервые за много лет он займется самоанализом и придет к выводу, что его личность – это не то, что он себе думал. Он думал, что, приехав в Израиль и, немного акклиматизировавшись здесь, он станет гордым евреем-гражданином, решившим положить конец униженности и беззащитности двадцати веков галутной жизни своих предшественников. Однако, заняв позицию „гордого патриота“, он отказался от своей сущности музыканта, то есть перечеркнул то, чем занимался всю жизнь. Перед Высшим судом (который, как оказывается, продолжает вершить дела прямо внутри его души) он предстает

как человек, преступно обошедшийся со своей жизнью. Таким образом, нынешние позиции педагога неприемлемы с точки зрения его же собственных высших критериев. Единственный выход – продолжать оставаться тем же человеком, каким он был в СССР и на этой основе приобщаться к жизни в Израиле (отсюда следует, кстати, что желательно также всерьез отнестись к местному государственному языку, как в свое время относились к государственному языку СССР... Отсюда НЕ следует, что музыкантам запрещено менять профессию. Мы говорим лишь, что им не рекомендуется менять душу.

Оказывается, музыка диктует моральные качества...

Итак, наш герой решает отойти от „пылкого патриотизма“ – на сей раз для спасения собственной души. И тут он возвращается к размышлению о значении музыки для евреев. И душевный Нагибин, и антисемит Вагнер убеждали его, что музыка, во всяком случае – концертная, концептуальная музыка, – евреям не нужна. А наш герой чувствует, что – нужна! И вот тогда, уже поздним утром, когда солнечные лучи проникнут к нему на кухню и осветят чайник, он вдруг почувствует себя одновременно и князем Михаилом, и князем Матвеем Виельгорскими, открывшими для себя музыку Бетховена по присланным из Вены партитурам во времена, когда концертно-музыкальное искусство такого уровня было еще непонятно почти никому в России. Они, исконные русские аристократы, проникнутые интересами своей родины, живо интересовались достижениями европейских композиторов, а потом помогли созреть и своим, местным авторам. Их естественная, нетравмированная русскость сделала их не только открытыми для западной культуры, но и катализаторами местного музыкального творчества.

„Стало быть, с точки зрения нашего осознания музыки, мы живем где-то в 1826-ом году...“ – нерешительно подумает наш педагог, наливая себе кофе. „Ну и ну“, – добавит он и тут же спросит себя: „Что из этого следует?“.

Ответ принесет воображение.

Педагог представит себе, как он и немногие оставшиеся ученики с партитурами в руках слушают новые произведения, а потом обсуждают их. Каждую неделю-две кто-то из учеников будет приходить с новой кассетой и копией нового произведения. Кто-то из его учеников окопается в библиотеке и сделает отчет о четырех-пяти важных статьях, отпечатанных в серьезных журна-

лах. Другой ученик (или ученица, конечно) пройдет по израильской общегосударственной и городской прессе и расскажет, „что слышно“. Педагог предложит своим ученикам пригласить какого-нибудь известного критика, „убившего“ недавно кого-то в газете, или превознесшего кого-то, и устроить ему концептуальный поединок. А критик непременно придет, он такая же примадонна, как и мы, и нуждается в публике.

Потом ученица (или ученик, конечно) приведет своего маленького питомца, и тот сыграет „Песню без слов“ Феликса Мендельсона. Наш педагог не будет критиковать своего „музыкального внука“ за отсутствие „ровности в аккомпанементе“ – заниматься этим он предоставит своему взрослому ученику (педагог „не обратит внимания“ на этот недостаток, во всяком случае в присутствии взрослого ученика и его маленького питомца). Он поиграет с карапузом красивую мелодию еврейско-немецкого композитора. Родители карапуза тоже придут, и отец деловито спросит, в каком возрасте Мендельсон принял лютеранство. „Ему было четыре года“, – скажет кто-то из взрослых учеников педагога. Мать карапуза вздохнет: „Как хорошо, что это уже позади нас...“

Через полгода кто-то принесет идею о распространении нот (да и билетов на домашние концерты) по подписке. Еще кто-то приведет знакомого меломана-юриста, и тот объяснит, как создать финансово-юридическую основу для нового музыкального общества. Со временем на заседания общества будет приглашен и мэр, который впоследствии утвердит передачу городского зала с роскошным „Стэйнвеем“ в пользование общества раз в месяц по четвергам. Потом приедет гость из Монреаля, сыграет с нашим педагогом „Фантазию“ Шуберта в четыре руки и пригласит нашего педагога в Монреаль...

Не пройдет и двух-трех лет, и у нас настанет „1855-й год“, а то и судьбоносный „1859“ (год основания Российского музыкального общества“).

Педагог размышляет...

„Боже, как просто!“, – вдруг подумает он, и, не удержавшись, задаст себе еще один вопрос: „Если это так элементарно, то почему никто не додумался до этого прежде (кроме Виельгорских)?“.

Наш герой опять станет анализировать (это ему понравилось) и придет к нескольким неприятным мыслям.

Первое: многие из нас, живших в рассеянии, стремились вовсе не к музыке, а к иерархическому продвижению вверх, тем самым пытаясь компенсировать свою гражданскую ущербность. Мы готовы были носить личины любой культурной системы, лишь бы избавиться от груза своей неполноценности.

Второе: наша неполноценность давно перешла границу национальной черты страха перед большинством и превратилась в ощущение личной незначимости. Поэтому столь многие из нас фыркнули и не пойдут на „музыкальные посиделки“, а пойдут в центральный, празднично освещенный зал слушать иностранных гостей. Нам недостаточно себя и музыки, нам нужен яркий свет юпитеров и приобщенность – пускай мимолетная – к чему-то титанически-иноземному. Все, что связано „со своими“, подвергнется раздраженной или высокомерной критике. Мы, уже будучи формально свободными гражданами, продолжаем вести себя как неполноценные. Именно поэтому в Израиле сильно поврежден тот механизм, который делает определенную часть людей открытыми для искусства и для музыки. Имеется ввиду часть интеллигентных людей, в прошлом охотно внимавшая музыке и не мыслившая жизни без музыкальных впечатлений. Атмосфера нашего общественного бытия изменила это положение. Очень многие люди вместо того, чтобы СЛУШАТЬ музыку, стали СУДИТЬ ее, как они привыкли судить (решительно, предвзято) все вокруг.

Приведем маленький пример. Известная израильская русскоязычная журналистка-публицист пишет по поводу статьи израильского „ивритоязычного“ журналиста, выступившего против левой тенденциозности большинства своих ивритоязычных коллег. Она восклицает: „Мы, пятеро взрослых, вчитывались в статью (называется имя журналиста), и нам казалось, что все написанное давным-давно известно, думано и передумано, говорено-переговорено, писано-переписано – правда, не на государственном языке Израиля, а по-нашему, по-русски. Но чтобы человек, постоянно подчеркивающий свою принадлежность к „лагерю мира“, сказал в глаза своим коллегам и единомышленникам все, что он о них думает, – такой поступок требует мужества. Потому что, высказав ТАКОЕ, ты рискуешь стать изгоем...“ Из выдержки следует, что – а) „мы, русскоговорящие, знаем давно то, до чего вы, ивритоговорящие, сейчас впервые додумались, и б) в Израиле быть инакомыслящим – это рисковать (видимо потерей

работы, как следует из последующего материала). По тону журналистки чувствуется, что она не допускает иных вариантов. А зачем допускать – ведь пишется это для людей, которые не имеют возможности заглянуть в ивритоязычную печать. И как вам нравится противопоставление „государственного языка Израиля“ „нашему, русскому“? Видимо, „государственный“ – это удел гнусных левых и провинциальных идиотов...

Когда человек с таким настроем подходит к действительности, о нем нельзя сказать, что он воспринимает ее с открытой душой. Нет. Он судит ее.

Мы уверены, что в прошлом эта журналистка, как и многие другие ее одаренные коллеги, иначе подходили к действительности. И поэтому они с большим удовольствием слушали музыку. А сейчас что-то произошло у них в душе, и самое большее, на что они сегодня способны – это СУДИТЬ ее. К сожалению, в такой атмосфере музыка не выживет, и с нею будут выброшены за ненужностью и музыканты (если они не знаменитые монреальцы, но это уже другой разговор).

Музыка, как теперь понял наш герой-педагог, – это искусство, которое обращается лишь к душевно полноценным людям, то есть к тем, кто уважают себя и уважают других. Пройдет еще немало времени, пока те выводы, к которым пришел наш педагог, станут достоянием большинства. Это произойдет, когда мы отдадим себе отчет, что путь внутреннего освобождения посредством „национализма и патриотизма“ есть не что иное, как бег от самих себя.

...Настанет день, когда люди успокоятся. Они перестанут выкрикивать лозунги и видеть себя судьями человечества. Они вернут себе интерес ко всему значительному и красивому. Тогда ученик нашего бедолаги-педагога сыграет концерт Петра Ильича Чайковского под аккомпанемент Иерусалимского симфонического оркестра, а спокойная и заинтересованная публика будет живо внимать каждому звуку гениального русского композитора. Наши журналисты (в том числе ивритоязычные) вспомнят, что в Израиле живет много музыкантов, и станут брать у них серьезные и вдумчивые интервью, а о заграничных светилах будут писать поспокойнее. Наши музыканты станут достойными людьми, к их искусству возникнет интерес, а меломаны станут раскупать их записи. Будут основаны профессиональные музыкальные журналы „Наша сионистская музыка“ и „Эхо Лиры Давида“,

где будут печататься вдумчивые статьи о проблемах наших музыкантов. Родители талантливых чад больше не будут бояться за их судьбу. Все это произойдет, когда наше общество в целом начнет переоценивать существующие ценности и идеалы. Одним из проявлений такого обновления станет более либеральная политическая переориентация нашего государства.

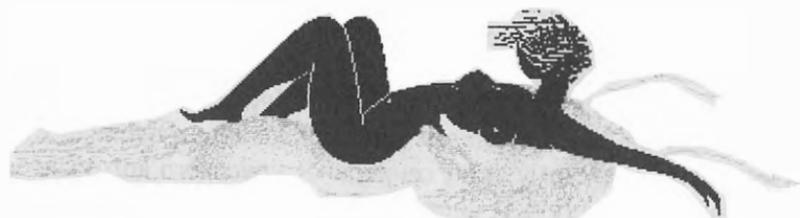
Вот тогда, в будущем, те меблированные комнаты, в которых играл когда-то наш музыкант-педагог, будут переоборудованы в дом-музей его памяти и там будут ежегодно проводиться фестивали его учеников и их гостей. Так он осуществит свое исконное право на вечность.

Н о в а я к н и г а

юлия винер

о деньгах, о старости, о смерти и пр.

(стихи 1985–1995 гг.)



Издательство **ALPHABETH**

Цена по желанию покупателя

Чеки можно посылать по адресу: J.W., P.O.B. 2725, JERUSALEM
Можно также заказать книгу по тел. № 02-6231563

Давид Керен

ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД ЛИЦОМ КАТАСТРОФЫ

(наблюдения над стихотворением
Анны Ахматовой „Лотова жена“)

1

В богатом и разнообразном поэтическом наследии А. Ахматовой выделяются три стихотворения, объединенные общим заглавием „Библейские стихи“ (1921-1961). Вообще поэзия Ахматовой чрезвычайно насыщена библейскими мотивами и образами (заимствованными как из Танаха - еврейской Библии, - так и из Евангелий). Порой они зашифрованы, не введены в текст явно (например, „Когда в тоске самоубийства...“, 1917) и требуют разгадки, обнаружения. Иногда же мелькают, проскальзывают в нескольких строках, и сами могут стать ключом к пониманию стихотворения, бросая на него особый отсвет - неизменяемого-вечного, циклически повторяющегося, - казалось бы, самого далекого от нас по времени и тем не менее близкого, преодолевающего время именно в силу своей вечной повторяемости („Из ребра твоего сотворенная, / Как могу я тебя не любить?“ в „Долгим взглядом твоим истомленная...“, 1921; „Во мне печаль, которой царь Давид / По-царски одарил тысячулетья“ в „Майском снеге“, 1916; „А в Библии красный кленовый лист / Заложен на Песни Песней“ в „Под крышей промерзшей пустого жилья...“, 1915). И это не только религиозно-экзистенциальное личное ощущение, это еще и некая культурная, эстетическая и поэтическая установка - акмеистская идея в е ч -

ного возвращения, неразрывной связи, даже слиянности времен. Отсюда идея переосмысления прошлого, попытка отказаться от взгляда на него как на нечто знакомо-банальное, увидеть в нем новое, точнее – вечно-новое и по-настоящему сложное.

Установка на диалог с прошлым, настоящим и будущим, на собеседование („О собеседнике“ О. Мандельштама) „предка“ с „потомком“ (невзирая на разделяющую их толщу физического времени), на переключку поколений („Чудится мне на воздушных путях / Двух голосов переключка“ у самой Ахматовой, 1961) объясняет во многом столь свойственную акмеистам (Ахматовой в особенности) цитатность, привлечение в свой стих чужого текста („Но, может быть, поэзия сама – / Одна великолепная цитата“, 1956). Таким Собеседником, Соучастником Диалога может послужить для Ахматовой и текст Священного Писания; в плане культурном, как и в плане мировоззренчески-религиозном, такой текст соответствует акмеистской идее вечного возвращения: библейские образы сопровождают жизнь человечества на протяжении всей его истории. Поэтому нет ничего удивительного в том, что у Ахматовой появляются „Библейские стихи“, которые в сюжетном плане представляют собой вольную интерпретацию историй, рассказанных в Танахе. Однако есть некоторая выделенность, индивидуальная особенность в этих трех стихотворениях Ахматовой. Она в том и заключается, что стихи эти объединены в цикл и названы библейскими. Тем самым утверждается их неразрывная связь с первоисточником, их мотивированность последним, п р я м о й диалог с библейским текстом. Перед каждым стихотворением стоит эпиграф – стих из соответствующей книги Танаха, в котором не только в лапидарной форме задана фабульная основа истории, но и выражена важная для Ахматовой мысль, являющаяся, возможно, ключом к пониманию стихотворения.

Такая строгость построения, когда каждый элемент приближает поэтический текст к тексту библейскому, обязывает. Обязывает проследить, что за диалог состоялся у Поэта (а Ахматова всегда осознавала себя Поэтом в пророческой ипостаси) с Боговдохновенным, опять же встречно-пророческим текстом Священного Писания. Здесь стихи Ахматовой – не просто в о л ь н а я интерпретация прошлого, здесь они – прямой ответ, попытка высветить ее личное и историческое настоящее этим прошлым,

а возможно, и предсказать будущее. Так мы и сформулируем свою задачу: всмотреться в диалог Поэта с библейским текстом - на примере „Лотовой жены“, одного из трех стихотворений цикла.

2

*«Жена же Лотова оглянулась
позади его и стала соляным столпом.»*

Книга Бытия

И праведник шел за посланником Бога,
Огромный и светлый, по черной горе,
Но громко жене говорила тревога:
Не поздно, ты можешь еще посмотреть
На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила.
Взглянула, и, скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли.
Кто женщину эту оплакивать будет,
Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.

24 февраля 1924 г.

Ахматова начинает с того, что называет библейского Лота праведником. С точки зрения иудаизма (Тора, Устная Традиция, классические комментаторы), Лот одновременно и был праведником, и не был им. Это - сложная фигура.

У него есть свои заслуги, своеобразный „фонд“ праведности (вместе с Авраамом отправился в землю Ханаанскую - будущий Израиль; не выдал Авраама при входе его в Египет, когда тот выдал за сестру жену свою Сару). С другой стороны, известная история о споре между пастухами дяди и племянника (Бытие 13:6-7) толкуется еврейскими источниками, вплоть до

Рамбана, прежде всего как **д у х о в н а я** несовместимость Авраама и Лота. Этот мотив усиливается фактом избрания Лотом, после отделиения от Авраама, в качестве места жительства Содома, погрязшего в грехе и распутстве. Там он, как и прежде, демонстрировал разные типы поведения: от выполнения – с риском для собственной жизни – Божественной заповеди гостеприимства (в Содоме оно, напротив, считалось тяжким грехом и наказывалось смертью) до готовности довольно оригинальным образом умиловать обезумевшую толпу, явившуюся к его дому линчевать гостей: предложив им на поругание собственных дочерей (Бытие 19:8).

Как бы там ни было, в глазах Всевышнего Лот заслужил спасение для себя и своей семьи, когда состоялось Божественное решение уничтожить Содом за его грехи. И, значит, до определенной степени имеет право на звание праведника.

...Каковое Ахматова у него и не отнимает. Но не Лот, а жена Лота, ее трагическая судьба вдохновили поэта и составили тему и пафос стихотворения „Лотова жена“.

С точки зрения еврейской традиции, она – безусловно злодейка и столь тяжкое наказание понесла за свои грехи. Будучи коренной содомитянкой, она переняла все пороки своих земляков. Это она „навела“ преступных собратьев на гостей мужа: пошла к соседкам просить у них соли, которой якобы не хватило дома. „Дайте мне соли, а то у нас гости“ – и тем дала понять жителям города, что у Лота гости, дабы те (жители) пришли мучить их (гостей). За то и стала соляным столпом“. Так трактует эту историю мидраш „Бэрэйшит Раба“ (Ваера 51:5; перевод мой. – Д.К.).

Вопрос о том, почему жена Лота при бегстве из Содома обернулась, несмотря на ясно выраженный запрет, решается комментаторами по-разному. Она могла пожалеть оставшихся в городе двух замужних дочерей, а могла пожалеть и об оставленном имуществе. Существует и третья версия: грешнику трудно оторваться от источника греха.

А чем вызван сам запрет оборачиваться? Рамбан пишет: „...ты не должен смотреть на гибель себе подобных. И еще: тот, кто смотрит на зараженное место и наблюдает заразные болезни, рискует, что порча захватит и его“ (к Бытию 19:17; перевод мой. – Д.К.)

Что же увидела в этой библейской истории Анна Ахматова? В центре ее внимания оказался эпизод „исхода“ семьи Лота из гибнущего Содома. В Торе, как мы уже видели, главная роль в этом эпизоде отведена Лоту, а не его жене. Она мелькает всего в нескольких строках, хотя описание необыкновенного ее конца ярко и впечатляюще, с эстетической точки зрения. Но Тора стремится передать нам некое этическое содержание, поучение, заключенное в истории, а не ее, так сказать, колорит. Тем не менее именно колоритность, картинность истории с „соляным столбом“ (как и другой истории в Торе - с Валаамовой ослицей) способствовала тому, что она вошла в культурный, эстетический код христианской цивилизации. Еврейское сознание тоже было поражено такой необычной казнью. В „Еврейской энциклопедии“, в статье „Лот“, написано: „Народное предание говорит, что столб этот привлекает к себе скот, который каждую ночь и уничтожает его до основания, но за ночь столб вновь вырастает <...>. Вера в „соляной столб“ была так велика, что у александрийцев возник вопрос, не является ли он источником ритуальной нечистоты, а видевший его должен был прочесть молитву, установленную для тех случаев, когда верующий встречается с чудом“*. Кстати, одним из редакторов этой энциклопедии, издававшейся в начале века, был В.К. Шилейко, чье мнение для Ахматовой было очень ценно. Во всяком случае можно предположить, что некоторые сведения о семье Лота она почерпнула из этого источника. Другим возможным источником ее понимания всей коллизии, а также и того факта, что в центр выдвигается Лотова жена, а сама она уходит в тень, было Евангелие, которое, несомненно, послужило одной из тех первооснов, что определили этическое и эстетическое сознание Ахматовой. В Евангелии от Луки (17:24, 28-33) сказано: „...ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день Свой. <...> Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, про-

* Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. Под общей редакцией д-ра истории Востока А. Гаркави и д-ра Л. Каценельсона. С.-Петербург. Том десятый, с. 368.

давали, садили, строили; но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех; так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, то не сходи взять их; и кто будет на поле, также не обращай назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее". Евангелие как будто не вносит ничего концептуально нового в отношение к жене Лота. Но уже одно то, что ее образ появляется в таком – близком к апокалиптическому, для христиан пророческому – контексте, может подействовать на воображение человека.

Заново, с только что открытой болью, прозвучали для Ахматовой слова Торы, которые она поставила эпиграфом к своему стихотворению: „Жена же Лотова оглянулась..." „Лишь сердце мое никогда не забудет / Отдавшую жизнь за единственный взгляд". – Вспоминая евангельский текст, можно подумать, что эти заключительные строки стихотворения звучат как отклик, как обет. Диалог с еврейской Торой ведет христианка Ахматова. Героиней стихотворения становится жена Лота. Это и есть то первое новшество, которое Ахматова внесла в разбираемую нами историю: по праву художника-творца, рисуя новый мир на основе когда-то – всегда (в е ч н о с т ь) – виденного, она „перераспределяет" роли.

В начале стихотворения явлен Лот:

И праведник шел за посланником Бога,
Огромный и светлый, по черной горе.

Итак, в художественном мире Ахматовой Лот – п р а в е д - н и к . Он связан с Б о г о м . Ровные, торжественные, декларативные интонации процитированных строк как будто не позволяют сомневаться в этом. Уже здесь Ахматова начинает свой диалог-спор с Торой, поднимая Лота на высшую ступень человеческой добродетели. Ей было нужно, как мы увидим далее, поляризовать конфликтную ситуацию.

Спокойно-торжественные интонации, звучавшие в описании исхода праведника, резко сменяются другими – неровными, болезненно-тревожными и эмоционально насыщенными.

Но громко жене говорила тревога:
Не поздно, ты можешь еще посмотреть...

Две вещи поражают в этом описании прежде всего. И в них, нам кажется, ключ к пониманию стихотворения. Во-первых, о ж и в л е н и е Лотовой жены. Мы видели, что в Торе ее образ мелькает только на мгновение, в нескольких строках, и немедленно исчезает: жена Лота теряет ж и в о й о б л и к, застывает в вечной неподвижности смерти – становится соляным столпом. Тора изображает нам у м и р а н и е г р е ш н и ц ы, чьи вины объясняет Устная Тора. В противоположность этому Ахматова, помещая образ Лотовой жены в центр стихотворения, о ж и в л я е т е е. Жена Лота обретает плоть и кровь, ее образ т е п л е е т, она становится ч е л о в е ч - н е е. Из грешницы она превращается в жену, мать, когда-то веселую, работающую труженицу, теперь же надорванную горем, несчастную ж е н щ и н у – именно женщину. Ахматова как будто пытается снять со своей героини мистический покров, сделать ее простой, обычной, горюющей женщиной, вызывающей столь понятную жалость. Женский голос раздается в ахматовском стихотворении. Трагедию любви увидела Ахматова в такой ясной, казалось бы, истории Лотовой жены.

Интересно, что с Лотом у Ахматовой произошло нечто противоположное. Он как бы „испарился“, почти исчез, потерял земные человеческие черты, – и это как раз Лот, который в Торе изображен столь сложным и противоречивым. У Ахматовой он поднимается по ч е р н о й г о р е, уходит от Земли, „растворяется“ на протяжении двух строк и пропадает из поля зрения читателя. Его немота, безголосость сменяется громким, тревожным, зовущим голосом Лотовой жены. У Ахматовой Лот молчит, покидая здешнюю жизнь и уходя в и н о е бытие, а значит, в каком-то смысле в небытие. Он не оглядывается на „красные башни родного Содома“, его мы видим только с о с п и н ы, его голос нам не слышен, и мысли его не раскрыты, он холоден, наполнившись своей п р а в е д н о с т ь ю (то есть праведность холодна), уводящей его вдаль, ему явно недоступно то чувство прощания с землей, с э т и м бытием перед уходом в иное, которое описано Ахматовой в стихотворении „Клевета“ (1921) (поэт описывает свою собственную б у д у щ у ю кончину):

Чтобы в последний раз душа моя горела
Земным бессилием, летя в рассветной мгле,
И дикой жалостью к оставленной земле.

Это память души, которой лишен ахматовский Лот. Душа Лота не может заговорить: земные слова „дикой жалости“ уже чужды ей (душе), ибо праведник идет за посланником Бога и не оглядывается назад. Эта дихотомия между Лотом и его женой подчеркнута даже цветовой гаммой стихотворения: преобладание белого („светлого“) и черного цветов в строках, посвященных Лоту, и появление красного при изображении Содома. Это явная поляризация, и Ахматова, можно предположить, идет здесь в чем-то за символистской традицией, наделяя цвета внутренним, мистическим смыслом. Лот (подчеркнуто, что он еще и „огромный“, то есть и в этом смысле *н е ч е л о в е к*), поднимающийся по черной горе (заметим, что ведь в Торе Лот отказался подниматься на гору – к Аврааму), несет в себе целый набор символов: его свет – это и свет праведности и чистоты (Апокалипсис 7:13: „сии облеченные в белые одежды...“), и свет Неба, удаленного от земли и не соприкасающегося с нею, с ее нечистой, и Высший Свет; черная гора – противоположный свету „полюс“ (день и ночь, свет и тьма), цвет инобытия (небытия), цвет незыблемо-вечного космоса, цвет ночи, ведущей к свету. Они противоположны друг другу, эти два „полюса“, но они и диалектически связаны – и общим источником (свет, сотворенный из тьмы), и равной удаленностью от земли, равной холодностью по отношению к ней. Красный же цвет Содома – это прежде всего цвет огня, в котором „дом гори“ (Света я пред собой невзвидела, / Оглянулась, а дом в огне горит“, 1940). Цвет, оставляемый на земле, цвет памяти и „дикой жалости“, но он же и цвет тепла, земного тепла, растопляющего душу после бело-черного горнего холода Лота...

Таким образом, если Лотова жена в ахматовском стихотворении *о ж и в а е т*, то сам Лот из этой жизни уходит, то есть в каком-то смысле *у м и р а е т*. Ахматову не столько интересуется застывший, „умерший“ Лот, сколько живая, горящая „дикой жалостью“ к оставляемой земле Лотова жена.

Выше описана первая метаморфоза, которую претерпели танахические персонажи при переходе в поэтический мир Ахматовой. Второй, не менее существенной, является то смещение,

а порой и перемещение причин и следствий чудесного преображения Лотовой жены. Согласно Торе оно было реализацией Божественного наказания, к которому (мера за меру) была приговорена грешница. Выше мы поминали причины, по которым, согласно Устной Традиции, Лотова жена обернулась. Обсуждая это, вновь сталкиваемся с диалектикой свободного выбора, предоставленного человеку, и Божественного предопределения. Но ни в одной из версий гибели Лотовой жены, предлагаемых традицией, естественно, не ставится под вопрос тот факт, что это – наказание свыше. Что же делает Ахматова? Ее героиня словно превращается в соляной столп из-за того, что, „скованы смертною болью, / Глаза ее больше смотреть не могли...“ Она застывает от боли! Вглядимся еще раз в происходящее.

Некий голос (по идее, это должен быть голос искушителя, отдаляющего от бога и соблазняющего совершить грех) нашептывает, а точнее – настойчиво взывает к Лотовой жене („Но громко жене говорила тревога“): „Не поздно, ты можешь еще посмотреть“, рождая в памяти картины прошлого земного дома. Героиня слушает этот голос и оглядывается. „Взглянула, и, скованы смертною болью...“ Это, конечно, искушение: призывать „еще посмотреть“, чтобы „глаза больше смотреть не могли“, – это тупик, удаляющий от Бога, Вечности и приближающий к земле, то есть к смерти (как в случае с Хавой-Евой и ее грехом). Так можно было бы подумать, но ахматовский текст явно требует иного понимания. В Торе, естественно, ничего не говорится о том, что Лотова жена слышала какой-то голос (грешница, не пожелавшая исправиться, лишена такой способности), даже Ангелы, выводящие семью Лота из Содома и предупреждающие его об опасности „оглядки“, обращаются только к нему (по всей видимости, он передал это наставление остальным беглецам). Нет в Торе намёка и на „дикую жалость к оставленной земле“ (в ахматовском понимании этих слов), пробудившуюся в жене Лота. Она бессловесна, и все ее проявление – это „оглядка“, ассоциирующаяся с грехом „непослушания“. В книге Чисел (15:39) сказано: „Чтобы вы <...> не устремлялись вслед за сердцем вашим и глазами вашими, [следую] за которыми вы беспутствуете...“ Такова заповедь. Голос, „шепчущий“ Лотовой жене в ахматовском стихотворении, призывает именно последовать за сердцем и глазами – оглянуться и посмотреть. Это

прежде всего голос сердца, голос тревоги, по-человечески понятной. Однако в мистическом срезе (либо перед нами, конечно, мистерия) голос тревоги и дикой жалости есть голос искушителя. Ибо праведник идет всегда за посланником Бога и не оборачивается назад по зову сердечной тревоги. Но поэтому же, по парадоксальной ахматовской логике, он не слышит никаких голосов, он „нем и глух“, потому что спокоен, чужд какой бы то ни было тревоги. Он – праведник. А что происходит с „грешницей“?

Уже одно то, что „громко жене говорила тревога“, показывает, насколько ахматовская Лотова жена подвластна искушениям-велениям сердца, когда никакие доводы рассудка, никакие грозные предостережения не способны удержать ее от безумства. Но ведь ею движут не корыстные побуждения (не об имуществе своем она пожалела), и не кровь „грешницы“ кипит в ней, словно бы затягивая ее обратно в центр блуда. Независимо от того, знала ли Ахматова хотя бы отчасти объяснения, предлагаемые Устной Торой, или ничего о них не слышала, они были для нее неприемлемы.

В ахматовском стихотворении перед нами предстает трагический образ глубоко чувствующей женщины, не могущей оторваться от родного очага. Нет, она не праведница подобно Лоту, она знает тревоги и сомнения, и потому ей тяжело. К чему, в сущности, призывает ее голос? **О с т а т ь с я !** Презреть спасение, ибо остаться – все равно что погибнуть. То есть, пожертвовать собой во имя памяти, с одной стороны, и во имя страдания человеческого – с другой. Чтобы **о с т а т ь с я**, нет необходимости действительно возвращаться в „родной Содом“ – достаточно просто взглянуть на него. По Торе, Лотова жена погибла **п о с л е т о г о** как обернулась, взгляд назад стал ее роковой ошибкой, повлекшей за собой наказание; у Ахматовой же губит ее **с а м в з г л я д**. Контакт с Богом распространяется только на Лота; если бы мы не знали историю Лотовой жены, мы бы, пожалуй, не смогли найти в тексте стихотворения намек на то, что героиня стала объектом Высшего суда и наказания. Нет, ее поражает нечто другое. Взгляд. Он как будто обладает некой магической силой, способной преобразовать этот мир, он тоже наказывает.

Лотова жена была искушена манящими словами, обещающими страдание, но страдание сладкое („дикая жалость“): „Не

поздно, ты можешь еще посмотреть ...“ Она повинуется; „взглянула, и, скованы смертною болью, / Глаза ее больше смотреть не могли“. Переживание оказывается столь сильным, что уничтожает в героине способность в з г л я д а и умерщвляет ее самое. Она испытала страдание, которое оказалось свыше человеческих сил, она точно взглянула на Бога или на Ангела-губителя (удивительно, как это совпадает с одной из фундаментальных концепций Торы и с одним из объяснений Рамбана по поводу Лотовой жены), а такое не проходит безнаказанно. Взгляд „убил“ ее, сковав глаза смертною болью. (Эта поэтика взгляда, взгляда как некоей реальной силы, – несомненно, одна из характерных черт поэтики Ахматовой, унаследованных ею от акмеизма. Но нельзя даже говорить о гибели в полном смысле слова: взгляд сразил Лотову жену так, что она з а с т ы л а от боли, так, что невыплаканные слезы затвердевают внутри нее в соль, сковывают ее. Она сама обращается в соляной столп, как воплощенное человеческое страдание: „И сделалось тело прозрачною солью, / И быстрые ноги к земле приросли“. В последней строчке чудится намек на греческий миф об Антее, который, будучи сыном земли, черпал из нее всю свою силу, а оторвавшись от нее, погиб. Но позвольте, могут нам возразить, ведь с Лотовой женой все произошло наоборот: именно невозможность оторваться от земли убила ее; если бы она нашла в себе силы подняться на гору вместе с мужем и не бросить исполненный „дикой жалости“ к оставляемой земле взгляд, все могло бы обойтись благополучно.

Однако это лишь поверхностный взгляд на вещи. Да, действительно, Лотова жена как будто погибла, хотя и очень необычной смертью. Выразимся осторожнее и более правильно: она перестала быть, кем была. Но стихотворение Ахматовой – не пересказ: изображая нам, читателям, гибель героини, она хочет сообщить что-то новое, сокровенно-скрытое. Мы уже обращали внимание на то, какая дихотомия образов наличествует в стихотворении. Праведный Лот, уходящий в и н о б ы т и е и теряющий какую бы то ни было связь с „оставленной землей“, не подвластен искушению: он холоден, ровен, он – не трагический герой, и остается за рамками ахматовского „взгляда“. Он расплывается вдаль, „застывает“ в своей огромной и светлой, неземной праведности. Он в н е земли, а значит, в каком-то смысле и вне жизни, он и с ч е з а е т из стихотворения и

больше не появляется*. Иное дело - героиня. Она трагически надломлена, она несчастна, а потому близка поэту. Да, она гибнет. Гибнет, по прямому смыслу текста. Но если копнуть глубже, то картина изменится. Лот спасся - и „умер“ для Ахматовой, ибо забыт ею. Лотова жена отвергла спасение и осталась здесь, на полной греха и страдания земле, в этом бытии, и потому, в известном смысле, не умерла, а осталась жить, ибо жизнь человеческая и земля - две вещи нерасторжимые.

Мы говорили выше об оживлении образа Лотовой жены в ахматовском стихотворении. Исходя из этой логики, ее застывание - не гибель, а высший пик ее жизни, слияние с этой жизнью в общем страдании. Без страдания нет жизни, а „смертная боль“ - в некотором отношении есть ее высшее проявление. Как писал Ф.М. Достоевский в „Сне смешного человека“: „Я полюбил их оскверненную ими землю еще больше, чем когда она была раем, за то лишь, что на ней явилось горе“**. С болью граничит чувство <...> ответственности, боль - непрременный компонент самопожертвования и готовности любить, боли противоположно „все равно“. Жена Лота познала боль и застыла в ней навечно, оставшись на оскверненной ж и в о й земле и вобрав в себя ее страдание. Более того: застыв, она избежала смерти - ее разложения и тлена. Она обрела в е ч н у ю ж и з н ь (вот она - дихотомия с Лотом!), остановив мгновенье, п р е о д о л е в опасность оторваться от матери-земли. Застывшим взглядом смотрит жена Лота на „красные башни родного Содома“. Эта поэтика остановленного, запечатленного мига, отождествляемого с вечностью, очень характерна для акмеистов.

В.В. Виноградов в своей работе „О поэзии Анны Ахматовой“ (1923) писал, что большинство ее стихотворений - „это лирические

* Появляется только в мыслях героини о прошлой, домашней жизни: „Где милому мужу детей родила“. Здесь Лот оживает по-настоящему. Но это Лот п р о ш л ы й, его уже нет.

** Ф.М. Достоевский. Полн. собр. соч. в тридцати томах. Л., „Наука“, т. 25, 1983, с. 117.

повести о застывшем миге^{*}. В „Лотовой жене“ застывший миг является как бы залогом вечной жизни героини, непреходящей, неиссякающей памяти о ней. Оставшаяся ради памяти о прошлом обретает память будущего:

Кто женщину эту оплакивать будет,
Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.

Ту, что не выплакала свои слезы, оплачет будущий Поэт. Та, что мнилась нам меньшей из утрат, стала памятником воплощенному страданию (ему-то, человеческому страданию, – вспомним опять Достоевского, – и кланяется Поэт). „Грешница“ превратилась в ту, кто готов отдать „живот свой за други своя“, кто о с т а е т с я , а н е у х о д и т . И потому сердце Поэта никогда ее не забудет, а праведник, оставляющий, а не остающийся, „идуший за посланником Бога“, исчезает из памяти: „Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее“.

Так ли уж ортодоксально-правильно поняла Ахматова слова евангелиста, не перевернула ли их? Это уже область догадок...

5

Тебе покорной? Ты сошел с ума!
Покорна я одной Господней воле.
Я не хочу ни трепета, ни боли,
Мне муж – палач, а дом его – тюрьма.

Так писала Ахматова в своем послании к В.К. Шилейко после нескольких лет совместной с ним жизни („Черный сон-6“, 1921). Это, конечно, совершенно иная жизненная позиция, чем у Лотовой жены, называющей мужа милым. Точно так же можно констатировать, что если у героини Ахматовой был д о м (та

* В.В. Виноградов. В кн.: Анна Ахматова. Три книги. Ardis, Ann Arbor, с. 244.

самая „крепость“, которая хотя бы отчасти гарантирует житейскую устойчивость), то у нее самой дома не было н и к о г д а. Сама Ахматова – по н а т у р е (а не только в силу несчастных обстоятельств) скиталица. Скитальчество на каком-то этапе (если не с самого начала) жизни и творческого функционирования Ахматовой было ею осознано как некий фундамент возложенной на нее м и с с и, осуществление которой предполагает самопожертвование и отказ от личного счастья; а с другой стороны, „бездонность“ служила для нее залогом свободы творчества, не реализуемой в тесных границах семьи и дома.

Но настойчиво отталкиваясь от дома, Ахматова, как всякий живой человек, всегда влеклась к нему, испытывала подсознательную потребность в нем, которую рассудком отвергала. Скитальчество не могло не утомлять, и в этом смысле образ Лотовой жены, счастливой своей любовью и своим материнством, – короче, своим домом, не могло не манить ее, потому-то так красочно и болезненно-певуче Ахматова изображает счастливые картины прошлого своей героини. Но это на поверхности. А что в глубине?

Мы упомянули о миссии, которая ощущалась Ахматовой. Что это была за миссия?

Она связана с понятием д о м а. Когда мы говорили о бездомности Ахматовой, мы имели ввиду нечто совершенно конкретное: дом как семейный очаг. У „скиталицы“ Ахматовой, однако, был другой дом, верность которому Ахматова считала долгом своей жизни. Эта верность стала ее идейным и отчасти даже поэтическим кредо, ибо как лейтмотив звучит во многих ее стихотворениях. В широком смысле слова ахматовским домом была Россия. Но сказать так – еще ничего не сказать, ибо любой человек из искреннего или натянутого патриотизма может утверждать о себе подобное. Во-первых, это чувство, повторяем, усиливалось у Ахматовой личной бездомностью и потому было особенно острым. Во-вторых же, то была любовь и верность не к России вообще, а к России страдающей, („Уведи меня в стан погибающих...“, Некрасов), распинаемой, вызывающей о помощи, но одновременно грешной, приговоренной, блудящей. Именно такой и только такой, Ахматова, как истинная „наследница“ Достоевского, Некрасова и даже Блока-автора стихотворения „Грешить бесстыдно, непробудно...“, видела Россию. А потому, с одной стороны, не покидать мать в беде,

поддержать ее хотя бы своим присутствием, с другой же - и это очень характерно для Ахматовой - свидетельствовать. Свидетельствовать страдание, передать грядущим поколениям беспристрастный рассказ о своем времени, донести до них его боль и позор. Если в минуту отчаяния она восклицает: „Надо память до конца убить“ („Реквием“, 1935-1940), то рядом стоящие строки „раскатываются“ колокольным звоном: „Опять поминальный приблизился час. / Я вижу, я слышу, я чувствую вас <...>. / Хотелось бы всех поименно назвать, / Да отняли список, и негде узнать. <...> / О них вспоминаю всегда и везде, / О них не забуду и в новой беде...“ (там же). Передать боль памяти будущим поколениям и послать „прощальный привет“ подругам „осатанелых лет“ (там же) - так ощущала свою миссию Анна Ахматова. Она была одна, без семьи, а потому свидетельствовала за всех, ощущая себя голосом всего народа: „И если зажмут мой измученный рот, / Которым кричит стомиллионный народ...“ (там же). Она свидетельствовала перед Богом, потому и отношение ее к России было близким к религиозному.

Мы сказали, что Россия была ахматовским домом в широком смысле слова. В узком же смысле ее домом был Город. Город, вся суть которого - двойственность. Город полурусский-полунемецкий, „гранитный город славы и беды“ (1915), город Достоевского и город „Крестов“. Все это - Петербург. Таким же изначально двойственным было и отношение Ахматовой к ее городу. Она написала о нем: „Был блаженной моей колыбелью / Темный город у грозной реки...“ (1914). Она создала миф о Петербурге и о своем месте в нем как месте единственно законном. Это было сделать тем легче, что ее литературная родословная: Пушкин-Достоевский-Блок - тоже связана с этим городом.

Для Ахматовой Петербург явился наиболее полным воплощением России страшного, или, как она его назвала в „Поэме без героя“, **настоящего**, Двадцатого века. Его, Петербурга, дуалистичность Ахматова сама выразила в стихах, назвав его „гранитным городом славы и беды“. Более подробно она раскрывает эту формулу в трех эпиграфах к эпилогу „Поэмы без героя“: „Люблю тебя, Петра творенье!“ („Медный всадник“); „Быть пусту месту сему...“ (приписывается Евдокии Лопухиной); „Да пустыни немых площадей, / Где казнили людей до рассвета“

(И. Анненский). Отношение Пушкина к Петербургу было достаточно спокойным, выверенным; когда он восклицал: „Люблю тебя...“, - то было искренним восторгом перед великолепием Строения, сотворенного человеческим гением. Тот разрыв между славой и бедой Петербурга, который столь серьезно занимал Достоевского и достиг своего апогея в творчестве Ахматовой, у Пушкина едва намечался. Поэтому он мог отвлекаться от беды, увлекшись славой. Ахматова уже так не могла. Ее любовь к Петербургу была надрывной, „достоевской и бесноватой“ („Поэма без героя“), как и сам город, превратившийся в „настоящем Двадцатом веке“ в „ненужный привесок“ своих тюрем („Реквием“).

Петербург занимает в поэзии Ахматовой столь значительное место, что как бы замещает собой лирического героя. Ее отношение к Петербургу скорее напоминает отношение к живому существу, чем к „мертвому городу“. Он любим и свят, но он и заклят-проклят, ибо, как незаконный сын, рожден в грехе, взращен на крови несчастных, под ним погребены тысячи жертв. Он „подкидыш“, ибо чужд России патриархальной, он символ России новой, „достоевской“, России распинаемой и блудящей, в нем - пророчество. Он демон, осененный адским „ореолом“, ибо тяготеет над ним проклятие рождения его, и потому закономерно, что он - „пустыни немых площадей, / Где казнили людей до рассвета“, он - „мрачнейшая из столиц“ (1916), где „все расхищено, предано, продано...“ (1921). Но он свят для живущих в нем, ибо он - их судьба, их крест, их любовь. Предать его, уйти от него - погубить душу. Он несчастен и грешен, но оттого любим еще более, и требует еще большего самопожертвования, ибо остаться в нем в час беды, спуститься с ним в ад - разделить с ним беду - если не излечить недуг, то по крайней мере утешить больного, возвестить о его великом страдании. Уйти же - значит бросить, забыть. Такая бескомпромиссная постановка вопроса рождала соответствующее отношение к „уходящим“ - русским эмигрантам, оставившим Россию после революции. Это отношение было подчеркнуто-холодным, если не сказать враждебным, - отчасти гордо-презрительным, ибо порой Ахматова ощущала себя единственной, кто остался и принял не себя бремя служения, кто исполнил миссию. Отсюда такие строки:

Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома.
За то, что, город свой любя,
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду.

„Согражданам“, 1923.

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врага.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

А здесь, в глухом чаду пожара*
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

„Не с теми я, кто бросил землю...“, 1922.

И как апофеоз звучит знаменитое стихотворение „Когда в тоске самоубийства...“, обращенное первоначально к Б. Анрепу и ставшее затем кредо, обетом, клятвой. В его основе, как доказал Омри Ронен**, тоже лежит библейский образ – стих из книги пророка Исаяи (1:21), столь отвечающий ахматовскому отношению к Петербургу и его трагедии. „Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь – убийцы“. И именно в это страшное время „мне голос был...“

* Содом! Разрядка в цитате моя. –Д.К.

** Omri Ronen. On the biblical source of some suppressed lines by Anna Akhmatova. - Ha-Sifrut, 1976, No. 23.

Голос был... Поэт-Свидетель получает пророчество. И этот голос звал, повелевал: оставь, уйди, иди вслед „за посланником Бога“. Голос бога, зовущий к свободе, к спасению, к чистоте, к праведности. Голос Бога? Нет! То голос искусителя, зовущий к забвению. Голос осквернителя, обещающий избавить от стыда и боли.

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

6

В 1946 году Ахматова пишет стихотворение, которое можно назвать продолжением „Лотовой жены“. Это – „Вторая годовщина“.

Нет, я не выплакала их.
Они внутри скипелись сами.
И все проходит пред глазами
Давно без них, всегда без них.

Без них меня томит и душит
Обиды и разлуки боль.
Проникла в кровь - трезвит и сушит
Их всесжигающая соль.

Но мнится мне: в сорок четвертом,
И не в июнь ли первый день,
Как на шелку возникла стертом
Твоя страдальческая тень.

Еще на всем печать лежала
Великих бед, недавних гроз, -
И я свой город увидала
Сквозь радугу последних слез.

(Разрядка моя. -Д.К.).

Мы назвали стихотворение „Лотова жена“ пророчеством будущей судьбы Ахматовой и ее лирической героини (а они, как правило, двойники). Как это ни парадоксально, но именно лирическая героиня „Второй годовщины“ („зеркало“ Ахматовой 1946 года), как ушедшая (и тем все-таки согрешившая) и вернувшаяся (в религиозном смысле слова), наиболее близка Лотовой жене, которая, уходя, оглянулась и тем вернулась-осталась. Можно подумать, что Ахматова, сочиняя „Вторую годовщину“, вспоминала „Лотову жену“, и оттого повторилось **д а в н е е**, вновь зазвучал **д а л о г**; идея вечных повторений нашла у Ахматовой новое выражение, и те же вечные образы явились в написанных более чем через двадцать лет строках. Невыплаканные слезы, материализующиеся во всежигающей соли, проникшей в кровь и сушащей-превращающей в столб... И взгляд, брошенный на „свой город“ („красные башни родного Содома“) – сквозь радугу **п о с л е д н и х** слез („Взглянула, и, скованы смертною болью, / Глаза ее больше смотреть не могли...“). Не могли смотреть на что? На что (на кого) брошен этот последний – роковой – взгляд? На „твою **с т р а д а л ь ч е с к у ю** тень“! Городу, живому, блудившему и все-таки родному, грешному и все-таки святому, потому что страдающему, – слезы, к нему – **в о з в р а щ е н и е**.

Теперь мы можем лучше понять „Лотову жену“. Не просто о прошлой жизни в семье и уюте пожалела героиня Ахматовой. Узко-семейное счастье Лотовой жены было для Ахматовой объектом притяжения-отталкивания: женская, естественная мечта сталкивалась здесь с презрительной гордостью свидетельницы, пророчицы, вопреки всему несущей свою миссию. Но ключ ко всему – „твоя страдальческая тень“. Не об имуществе горевала ахматовская Лотова жена, не о покинутых замужних дочерях. Если из всех объяснений, предлагаемых Торой, одно могло бы быть до известной степени близко Ахматовой, то это то, которое говорит о тяге „грешника“ к источнику греха – к „родному Содому“. Но как поняла Ахматова эту „тягу“ и как отнеслась к ней! Не потому превратилась в соляной столп ее героиня, что пожалела лотовским гостям (Ангелам) соли. Она взглянула на **н а к а з ы в а е м ы х** (а „грешнице“ нельзя смотреть на наказание себе подобных), на низвергаемые с Небес серу и соль, на Ангела-губителя. В соляной столп превратила ее „страдальческая тень“ – вот что сковало „смертною болью“

ее глаза, и невыплаканные последние слезы затвердели - „и сделалось тело прозрачною солью“. Страдание гибнущих людей и страдание гибнущего, а потому живого, Города - вот источник ее „смертной боли“. Человек не в состоянии выдержать ее, не перестав быть живым человеком (так же, как при попытке „увидеть“ Бога), и превращается в вечный памятник этому великому страданию.

Великому не только в силу его чрезмерности. Великому, потому что праведному. „Вторая годовщина“ заканчивается катарсисом - очищающим плачем: там ее Город выжил, и после душасей разлуки героиня видит его сквозь „радугу последних слез“. Слезы пробились, соль „растопилась“, и есть надежда - нет спасения. Город гибнет, живое тело бьется в агонии - и навеки остается в памяти человечества взметнувшимися и окаменевшими языками пламени, охватившими „красные башни“. Так же навеки остается в памяти человечества в е р н у в - ш а я с я „грешница“, застывшая столбом из соли напротив „родного Содома“.

„Грешница“? Но мы определили ее страдание как праведное. Это не оговорка. Здесь-то и раскрывается тайна Лотовой жены и ее трагедии в ахматовском мире. Ибо, повторяем, Ахматова перевернула концепцию праведности. До разразившейся беды Лотова жена жила обычной, спокойной, даже счастливой жизнью, описываемой теплыми словами („Где милому мужу детей родила“). Было ли в этой жизни что-то греховное? Трудно сказать. Неахматовская жизнь, д о м а ш н я я , чужая. Как подсознательную мечту описывает она ее или как нечто по силе чувств несоизмеримое с разворачивающейся в данное мгновение трагедией, во всяком случае не т а жизнь в центре ее внимания, даже если и имели в ней место мелкие грехи:

Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей...

(„Реквием“. Разрядка моя. -Д.К.)

То, что случилось сейчас, трагично по своей сути. С одной стороны, получено повеление от Бога - покинуть грешный и

приговоренный к смерти город. „И праведник шел за посланником Бога...“. А „грешница“ не находит в себе силы идти за Ним. В силу своей испорченности, „греховности“? Нет! Просто „праведник“ избирает личное спасение, дабы через много поколений дать жизнь другому великому праведнику – Давиду, а „грешница“ избирает о б щ е е страдание. Он поднимается и уходит в инобытие, она замирает и остается здесь. Поступает ли она против воли Бога? А как же тот г о л о с, что звал у т е ш н о оставить свой грешный край, казался поначалу пророческим, а в конце концов превратился в „речь недостойную“, которую н е н а д о слушать, – более того, которой может о с к в е р н и т ь с я „с к о р б н ы й дух“? Да, для скорбного духа это не пророческий глас, а шепот искусителя – „недостойная речь“. Скорбный дух слышит другой голос, голос „дикий жалости“, заставляющий оглянуться на страдание и тем приобщиться к нему – и, если надо, погибнуть, со словом памяти на устах и самому навсегда встав „окаменевшим“ памятником перед грядущими поколениями. Поэтому голос – внутренний голос, – обращающийся к Лотовой жене и говорящий „еще не поздно“, есть в то же время пророческий глас, вещающий скорбному духу и указывающий ему путь (а потому он как бы ответ на „недостойную речь“ в „Когда в тоске самоубийства...“). Путь н а з а д, путь в о з в р а щ е н и я.

Скорбный дух выбирает страдание и, оглянувшись, навеки остается. Тем самым он преодолевает трагедию и обретает душевную цельность – в разделенном страдании. Самое поразительное, что он как бы действительно возвращается к Богу, ибо делает единственно правильный для него, скорбного духа, вывод и принимает на себя бремя Божественной, Высшей миссии – миссии Свидетеля и Глашатая общего страдания.

Соляной столп памяти, вырастающий из строк „Лотовой жены“, можно уподобить тому „слезному“ памятнику Поэту-Свидетелю, о котором пророчит Ахматова в „Реквиеме“:

А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условием – не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,

Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забуть громохание черных марушь,
Забуть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.
И пусть с неподвижных и бронзовых век,
Как слезы, струится подтаявший снег...

Оба памятника поставлены по Божественному произволению как знак праведности скорбного духа. И в этом обнаруживается самое сокровенное: грешница превратилась в праведницу.

1992, 1997.

Вышла в свет новая книга
НИНЫ ВОРОНЕЛЬ

„МАЙН ЛИБЕР КАЦ“

(276 стр.)

«...Контрапункт иронии и лирики у Н. Воронель – не случайность, он кроется в природе ее поэтики...»

•
„МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ“,
P.O.B. 44050, Tel-Aviv 61440

•
Цена – 36 изр. шек.
(25 DM для Европы, \$14 для США,
включая пересылку)

Михаил Копелиович

ЧЕЛОВЕК КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЖ

Мы с Владимиром Фромером, автором „Хроник Израиля“ в двух томах („Иерусалимский издательский центр“, 02-6245311, Р.О.В. 37106, Иерусалим, 91370), находимся в разных „весовых“ категориях: он – ватик с большим стажем (30 лет!), я – оле... хадаш-не хадаш, но и семь лет – вроде бы не срок. Так что не мне писать серьезный разбор фромеровских хроник, основанный на знании реалий той эпохи (в основном конец 40-х-начало 80-х) и ее главных действующих лиц. (Среди героев Фромера есть люди, о которых я прежде слыхом не слыхал.)

Но, может быть, и мой взгляд, взгляд человека, далекого от событий тех лет – и территориально (ибо я жил тогда в недоброй памяти Советском Союзе), и по времени (ибо из года девяносто седьмого, „как с башни, на все гляжу“), – не покажется суетным и праздным. Во-первых, я опытный и въедливый читатель. Во-вторых, к истории Израиля отношусь не остраненно: ведь из прошлого берет начало настоящее. И в-третьих, сам В.Фромер интересуется меня, как литератор, чью новеллу-мемуар „Обед на двоих“ („22“, № 103, 1997) я высоко оценил в печати („Досуг“, приложение к газете „Новости недели“, 13 июня 1997). Читая „Хроники Израиля“, я невольно сравнивал их с новеллой. (Конечно, жанры разные, да рука-то одна!)

После этого небольшого предисловия приступлю к собственно статье. Светоний, один из хроникеров императорского Рима, ставил перед собой сугубо конкретную задачу: изобразить соответствующую эпоху, „центрируя“ ее относительно *ц е з а р е й*. Так мог бы поступить и Фромер, но он с самого начала отверг подобный подход: открыл свою книгу рассказом не о первом

израильском „цезаре“, а о первом полководце становящегося еврейского государства. Что же касается Бен-Гуриона, то он получил в „Хрониках“ малочетную роль персонажа второго плана. Почему бы это? Первое само собою напрашивающееся объяснение: потому что ни о ком из израильских великих не написано больше, чем о Давиде Бен-Гурионе. Но, с другой стороны, и Голда Меир, и Моше Даян, и Менахем Бегин, а в последние годы и Ицхак Рабин – это такие имена, которые почти в равной степени неотделимы от эпохи героической юности Израиля, и ими так же пестрели (да и нынче то и дело...) полосы заглавий и страницы исторических сочинений. Тем не менее все эти люди – „солисты“ фромеровских „Хроник“. А вот пример из другой области: правому идеологу Исраэлю Эльдаду посвящен отдельный очерк, тогда как его антипод Иешаягу Лейбович, человек, бесспорно, не менее известный и экстравагантный, вынужден довольствоваться эпизодическим (впрочем, лестным для него) упоминанием в том же очерке да подстрочным примечанием на той же странице.*

Похоже, что главным критерием отбора персонажей служило для Фромера собственное отношение к тому или иному лицу, собственное понимание роли этого лица в становлении Государства Израиль (политика тут ни при чем!). „Добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева“? Нет, разумеется. Такой, нечеловеческой, объективностью не отличались и древние историки, тот же Светоний, „лояльный“ по отношению к одним цезарям, оказывается „предвзятым“ – к другим (например, к Тиберию).

Если это и вредит объективности, то в яркости и увлекательности история, написанная на основании такого – неравнодушного – подхода, несомненно, выигрывает.

Среди персонажей „Хроник“ читатель встретит как выдающихся политических и военных деятелей, ученых, мыслителей, так и личностей весьма сомнительных, вроде „короля богемы“,

* В номере 102-м журнала „22“ (1996), в рубрике „Иерусалимские размышления“, опубликованы интереснейшие документы, принадлежащие перу (перьям?) этих двоих: статья Лейбовича „Территории“ (1968) и выдержки из „Открытого письма“ Эльдада М. Бегину (1977).

скандального литератора Дана Бен-Амоца, или Мордехая Вану, выдавшего атомные секреты Израиля. Попытаемся понять, какие личностные качества выделяет Фромер в своих героях, за что он их хвалит или осуждает. Подчас бывает, что мелкие мысли того или иного лица кажутся нам более мерзкими, чем его злые дела*. И наоборот, способность мыслить и чувствовать крупно вызывает у нас большую симпатию (по крайней мере интерес), чем пресная и „натащенная“ (словечко Достоевского) филантропия.

Возьмем лишь некоторых героев Фромера. Ицхак Саде (между прочим, как сообщает нам автор, он – двоюродный дядя знаменитого Исаяи Берлина) – человек, ставший после Войны за Независимость „чем-то вроде народного героя“. Рубаха-парень. „Еврейский Гарибальди“ – это, как и „народный герой“, переписано из воспоминаний Берлина. Главная доминирующая черта личности – дружелюбие. „Приправы“: неистребимая веселость, врожденное изящество (И. Берлин назвал его „полубогемным-полуаристократическим“). „В ходе Войны за Независимость старейший командир израильской армии Ицхак Саде командовал важнейшими операциями“.

Игал Алон (как и Моше Даян, ученик и друг Ицхака Саде). Основные краски образа: вечная молодость и – безусловная порядочность.

„...Ярость времени воплотилась в этом молодом главнокомандующем, победителе шести арабских армий в Войну за Независимость, первом генерале Пальмаха“. В том месте главы об Алоне (ее название „Конец прекрасной эпохи“), где возникает слово „порядочность“ как характеристика главной черты Алона, с красной строки выведена фраза: „О Даяне этого не сказал бы никто“. Фраза-клеймо. Фраза-приговор.

Между Алоном и Даяном (ему также посвящена отдельная глава „Хроник“) вклинивается ряд других персонажей, каждый из которых по-своему колоритен, но, честно говоря, мне показалось, что двое из них: Голда Меир и Менахем Бегин – хроникеру не близки, и вывел он их из чувства справедливости. „Голда

* Ф. Ницше: „Хуже всего мелкие мысли. Поистине уж лучше совершить злое, чем подумать мелкое“.

без косметики“ - самый заголовок кажется мне неудачным. При чем тут какая бы то ни было косметика если „Голда - единственный м у ж ч и н а в правительстве? А то, что „она пожертвовала всем ради политической карьеры. Даже семьей“, - момент в ее биографии, как теперь говорят, амбивалентный.

В этой главе меня впечатлила лишь крылатая фраза самой Голды: „Палестинцев не существует. Я - палестинка“. Эта фраза говорит о Голде больше, чем все подробности ее политической карьеры.

В главе „Триумф и трагедия Менахема Бегина“ ярко показано все, что можно отнести к рубрике „Триумф“, и довольно бледно развернута т р а г е д и я. Сцена „отречения“ Бегина выглядит немножко кукольно. Все эти штампы: „сдавленный стон пронесся по залу...“ (кому он показался сдавленным?); „Давид Леви петушком наскакивает на Бегина ловит его за руку“, и Ицхак Шамир, в чьем „прерывающемся (т.е. тоже как бы сдавленном. - М.К.) голосе чувствуется подлинное отчаяние“. Нет уж, увольте! Бегин достоин более строгой декорации: ведь то, что с ним произошло в конце пути, - действительно трагедия в точном терминологическом смысле этого понятия (вмешательство Рока в дела сугубо земные, искупление Греха, гибель Героя - неотвратимая и высокая).

Что касается главы „Искушение короля“, то там вообще непонятно, кто ее центральный персонаж. Лично для меня интерес этой главы состоит в толковом изложении плана Алона, о котором много слышан, но существо которого уразумел, лишь читая книгу Фромера. Особенно заинтересовал меня пункт 2, где среди прочего сказано, что „лишь дислокация израильских сил вдоль реки Иордан может гарантировать нашу безопасность“.

Зато превосходно выписан Ицхак Шамир, сильно задевший автора своей, скажем так, нетривиальной тривиальностью. „Человек, явившийся из мрака подполья <...>, которому лишь снизойдимость вождя (М. Бегина. - М.К.) открыла путь к ключевым постам в созданном Жаботинским движении. Разве можно сравнить его с Ариком Шароном, героем всех войн, которые вел Израиль, или с Давидом Леви, идолом сефардских евреев?“ Очень существенны комментарии Фромера к плану израильско-палестинского урегулирования, который Шамир привез Бушу

вскоре после триумфального успеха возглавляемого им Ликуда на выборах 1988 года.

„Как бы ни относиться к Ицхаку Шамиру, нельзя не признать, что он создан из прочнейшего материала. <...> в его восприятии время застыло, и до самого конца своей карьеры он мыслил категориями вождя компактной подпольной организации.

Сам Шамир считал свою черту скорее достоинством, чем недостатком. Он был глубоко убежден, что война за выживание, которую приходится вести Израилю, будет продолжаться еще очень долго. <...> Не в будущее, а в прошлое смотрел Шамир, черпая из него силы...“

В этом небольшом (да еще и сокращенном мною пассаже „энциклопедически“ представлены все элементы авторской манеры Фромера. Объективность, насколько это возможно. Скрытая полемичность, чуть проступающая в выборе ключевых слов и словосочетаний („время застыло“; „мыслил категориями“; „смотрел не в будущее, а в прошлое“). Насколько я понял, Фромер – не сторонник шамировской позиции трех железных „нет“, но он не может не отдать должное несгибаемости и „несдвигаемости“ своего героя при отстаивании этой позиции.

...На заре моего израильского существования (это было начало 90-х) Шамир меня очень раздражал. Меня, как и Фромера, не устраивало то обстоятельство, что в шамировской программе израильско-палестинского замирения не было „ни одного конструктивного предложения, ни одного жеста доброй воли“. Но тогда эту программу не с чем было сравнивать. Сегодня ситуация иная. И то, что некогда казалось мне недостатком позиции Шамира, сегодня представляется скорее ее достоинством. Политика-политикой, – главное, что автор „Хроник“ не навязывает свое толкование событий и умеет испытывать подлинное (не натащенное!) уважение к своему политическому оппоненту и, что еще важнее, человеку противоположного психологического типа.

Что же до деятельности молодого Шамира в Лехи, а затем в Мосаде, то „эта штука сильнее, чем...“ С этим не сравнится даже самый замысловатый и запутанный детектив. Куда там Агате Кристи...

Моше Даян... Мы помним: если Игал Алон – эталон порядочности, то „о Даяне этого не сказал бы никто“. Запомнив эту

ужасную характеристику, вынесенную в отдельный абзац, с опаской приступаешь к чтению главы „Даян в зеркале психоанализа“. То, что Фромер развенчивает Даяна как полковнца, – еще полбеды. Даже и неподобающее поведение великого Даяна в критические минуты Войны Судного дня ему еще можно простить. (Как и Рабину – его слабость накануне Шестидневной войны.) Но вот то, что после той войны, когда пришло время подсчитывать „потери и убытки“, Даян „подставил“ Давида Элазара (Дадо) и Шмуэля Гонена (Городиша), непростительно. В „даяновской“ главе есть еще одна фраза, под статью той, которую я уже дважды процитировал. По поводу того, как он поступил со своими ближайшими товарищами, сказано так: „...поспешил по своему обыкновению свалить вину...“

Такое же чувство разочарования (и даже гадливости) я испытал при чтении „Хроник Израиля“ несколько раз. Помимо Даяна, Фромер вывел еще двоих, один из которых в настоящее время сидит в тюрьме, а другой... в кресле министра обороны страны. Первый Мордехай Вануну. Даже если верна версия Фромера („Трудно отделаться от впечатления, что Вануну был просто слепым орудием в чьих-то руках“), все равно для такого дела, в силу его специфики, требовался человек... нет, двуногое, потерявшее человеческий облик. Возможно, Вануну был использован так же, как некогда Ван-дер-Люббе (тоже Ван...), поджигатель рейхстага, или убийца Джона Кеннеди – Ли Харви Освальд, но ведь и эти двое, наряду с жалостью, вызывают отвращение. Тут дело не только – и, может, даже не столько – в факте предательства других (страны), но в феномене измены с а м о м у с е б е как человеческому существу. „Апология индивидуализма“ – так называется глава „Хроник“ об Исразле Эльдаде. „Идивидуализм в действии“ – так можно было бы назвать главу о Вануну. Впрочем, и авторский заголовок – „Скорпион“ – недурен...

Второй – тоже Мордехай. Генерал в отставке Ицхак Мордехай, „человек, стремящийся избежать ответственности за свои поступки“. Примеры найдете в книге.

Не могу не сказать еще об одном – на сей раз стопроцентно положительном – персонаже книги. Это – Аба Эвен. Ясно, что бывший министр иностранных дел (в частности, во время Шестидневной войны, и потому его имя, как и имя Даяна, было тогда

на слуху и устах у всех советских евреев*) – наиболее симпатичный автору политический деятель Израиля. И не мудрено. „Можно с уверенностью сказать, что личность и обаяние Эвена сыграли немалую роль в исходе политической баталии, конечным результатом которой явилось провозглашение Еврейского государства“.

И еще, совсем по другому поводу: „Личная жизнь Эвена была безупречной. Он не имел сомнительных связей. Его нельзя было поймать на лжи. Он был безукоризненно честен“.

Добавьте к этому неискушенность в интригах и кознях, изумительный ораторский талант, безупречное владение „кучей“ языков (в том числе персидским!), изысканность манер (название главы – „Прощание с д ж е н т л ь м е н о м“), – и вам станет ясно, что Аба Эвен, такой, каким его живописует Фромер, – действительно образец для подражания, хотя, с другой стороны, разве можно подражать совершенству...

Эта глава интересна еще и тем, какими в ней предстают коллеги Эвена по партии Труда. Вот начало главы: „Не то диво, что партия Труда выбросила его за борт. Поразительнее всего, что это произошло так поздно“. А вот ее середина: „Ицхаку Рабину и Шимону Пересу было чему позавидовать“. И еще: „Эвен был белой вороной не только среди элиты рабочей партии Мапай, но и вообще в стране победившего сионизма“. Что называется, припечатал.

Еще два слова о так называемых отрицательных персонажах. Стоило ли посвящать в х р о н и к а х Израиля отдельную главу такому, например, „красавцу“ (помните шукшинскую „Калину красную“?), как Дан Бен-Амоц? на презентации книги в иерусалимском Общинном доме 10 сентября 1997 В.Фромер прочитал как раз эту главу. Один из слушателей выступил с резким осуждением того, что автор счел возможным включить этого мерзавца и отщепенца в круг своих героев. Слов нет, личность малосимпатичная. В жизни встречается всякое. Предлагая лишь положительные образцы, мы тем самым обедняем

* И не только евреев. См. поэму Венедикта Ерофеева „Москва-Петушки“, кстати, впервые увидевшую свет на русском языке еще в 70-е годы, в израильском журнале „Ами“, одним из редакторов которого был Владимир Фромер.

ее, жизнь, нарушаем ее естественное равновесие. В. Фроммер, нащупывая свои принципы отбора персонажей (а это приходится делать не только беллетристу, но и историку), видимо, исходит из тех же соображений, что и Р. Роллан, по мысли которого назначение искусства – прежде всего делать людей (имеются ввиду читатели) более живыми и „возбуждать их страсти – неважно, хорошие или плохие, – лишь бы искусство заставляло ярче пылать Дух Жизни“. Это – не проповедь аморализма, а филиппика против пресности и мертвечины в искусстве.

Именно поэтому, как мне представляется, в портретную галерею Фроммера вошел высокоАморальный Дан Бен-Амоц. А вот Меир Вильнер, бывший лидер израильских коммунистов, этой чести не удостоился, хотя лично он, вполне возможное дело, не так плох, как Бен-Амоц и, тем более, Мордехай Вануну. (С другой стороны, для совершения большого зла нужно иметь большие возможности. У Вануну они, в силу его служебного положения, были. У Вильнера – нет.)

Последний раздел книги носит название „Силуэты диаспоры“. Кажется бы, в хрониках **И з р а и л я** это совсем ни к чему. И действительно, есть там один персонаж, на мой взгляд, совершенно неуместный. Это – Сартр. Быть может, не было в уходящем столетии, вообще-то весьма богатом на „текучие“ личности (порой на грани выпадения из человеческого сообщества), подобной фигуры, одновременно сложной, как оргán, и простой, как мычание. Но ведь он не еврей. Связь же Сартра с евреями „через“ одну из его многочисленных любовниц – сомнительный довод в пользу „просачивания“ его на сцену новейшей еврейской истории, да еще в почетной роли персонажа, „опускающего занавес“.

В целом, однако, „Силуэты диаспоры“ – раздел в „Хрониках“ отнюдь не лишний. Потому что такие люди, как „еврейский убийца Гриншпан“ или „китайский генерал Моше Коэн“, могли бы быть пророками в своем отечестве, если считать Израиль отечеством всех евреев. Особенно последний, чье сущностное родство с такими героями книги-израильтянами, как Игал Алон, Давид Элазар или Ицхак Саде, не нуждается в доказательствах сверх тех, которые читатель найдет в книге В. Фроммера.

В „Вестях“ (25.09.97) о „Хрониках Израиля“ оперативно отозвался Аркан Карив. Отзыв его хлесток, но малосодержателен. Не имея возможности оспорить все неосторожные суждения рецензента „Вестей“, возражу ему по двум, на мой взгляд, главным позициям. Во-первых, если уж называть подход В. Фромера к изображению исторических событий „методом романтизации истории“, то и примеры надо приводить из книги, а не из посторонних источников – „устных экспромтов“ ее автора. Во-вторых, как понимать утверждение А. Карива, будто „современная израильская история видится Фромеру через античные метафоры“? Мало того, что это сказано не по-русски, но неверно и по существу.

Но, разумеется, в „Хрониках Израиля“, как в любом документально-художественном сочинении, есть своя система тропов, и в их числе метафоры.

„За два года Перес сумел показать, на что способен, хотя многим он и напоминал кролика из „Алисы в стране чудес“, ибо всегда спешил на какую-то очень важную встречу“.

Или короткая фраза, дающая понятие о своеобразном – чуть приглушенном – фромеровском юморе: „очнулись они через полчаса, обогащенные представлением о силе кулака этого человека“.

ЗаклЮчить же хочу цитатой из предисловия к „Хроникам“ Михаила Хейфеца, вынесенной также на обложку второго тома книги: „Это – книга хорошего писателя... Но самое главное – то, что он сумел сохранить нам дух великой эпохи“. Под этими словами подписываюсь „обеими руками“. А греческую „мойру“ оставляю любителям красивых слов.

Сентябрь 1997 – январь 1998

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ

Что должно стать главным объектом внимания для историка, отдающего свои силы изучению далекого прошлого, скажем средневекового прошлого? Прошло уже несколько десятилетий с того времени, когда российские медиевисты, знатоки этой эпохи, убедились в настоящей необходимости отказаться от перворазрядного исследования крестьянской жизни, поземельных отношений, деревни. Этим темам из западно-европейской истории пришло на смену увлечение городскими порядками, политическими структурами, пока в перспективе не замаячила история духовной жизни и ее средоточие – человек со всем многообразием его внутреннего мира и окружающих его взаимосвязей. При этом перед взором исследователя неизбежно возник человек как живое существо, его рождение, развитие, смерть, все то, что составляет предмет исследования в сфере исторической демографии. Так появился на свет цикл работ московской школы исторической демографии, работающий под руководством Ю.Л. Бессмертного.*

Этот опыт оказался настолько многообещающим, что ни у кого не возникло сомнений в необходимости его продолжения. И вот перед нами новая книга, вышедшая в самом конце 1996 г. и бесспорно развивающая эту тему. Однако, авторы этого нового коллективного труда объявили, что посвящают книгу не только традиционному, демографическому бюджету – исто-

* См. мою рецензию на публикации, посвященные этой теме, в „22“, 93, 1994, сс. 90-98.

рии семьи, но и новой теме, теме частной жизни. Книга так и названа – „Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до начала Нового времени“.*

Руководитель работы начинает изложение с нескольких существенных предуведомлений. Он считает необходимым объяснить, что частная сфера человеческой жизни важна потому, что выступает как „функция развития других социальных сфер и в то же время, как один из важнейших индикаторов ситуации в обществе“. И анализ частной жизни становится первой намеченной им линией исследования. При этом в самой частной жизни авторы стремятся увидеть не только то, что нередко разглядывают сквозь „замочную скважину“, но и то, как люди прошлого оценивали свою жизнь, самих себя и свой внутренний мир в этой жизни.

При этом в работе по замыслу авторов должно выступить осмысление еще двух планов. Первым из них должен явиться мыслительный процесс историка, работающего над текстами, которые он хочет заставить „заговорить“. Ведь основным объектом изучения в книге явились источники достаточно далекого прошлого. В одном случае – это прошлое, которому чуть более полутора веков, во всех же остальных – достаточно много столетий.

Однако самую значительную часть усилий создателям книги пришлось потратить на решение проблемы, которая любому, а тем более внимательному читателю, покажется действительно центральной. Если уж речь зашла о частной жизни, то где же пролегает граница между „частным“ и „не-частным“, публичным? Зададимся этим вопросом и мы, переходя от главы к главе, от очерка к очерку.

Авторы отлично отдают себе отчет в том, что понятие „частная жизнь“ в научном истолковании для многих окажется новым и даже не очень понятным. Совершенно естественно, поэтому, что в самом начале книги, сразу же за кратким предисловием оказалась глава „Выделение сферы частной жизни как историографическая и методологическая проблема“. Ее автор, Л.П. Репина – сразу „отпускает грехи“ тем, кто не очень понимает, что означает эта тема: она и в головах-то специалистов

* Под редакцией Ю.Л. Бессмертного. Москва, 1996.

приобрела окончательный облик в какие-то последние десять лет. И пятитомная „История частной жизни“, увидевшая свет во Франции под редакцией Ф. Ариеса и Ж. Дюби в 1985-1987 гг., впервые явилась порогом, за которым начался отсчет научной жизни этой категории.

Эта жизнь сразу же стала развиваться в трех направлениях: а) история семьи и домохозяйства; б) история женщины; в) новая культурная и интеллектуальная история. Л.И. Репина обстоятельно характеризует соотношение частного и публичного, рассмотренное в главных, по ее мнению, трудах современных исследователей в последние годы.

Не менее любопытен и второй очерк той же Л.И. Репиной, относящийся уже к другой ведущей теме, к так называемой „женской истории“, очерк весомый и значительный, и, как и первый, посвященный историографии темы. Оба очерка дополняются обширнейшей библиографией, столь солидной (в ней 472 названия), что любой исследователь, пожелавший последовать за авторами книги в изучении темы или, хотя бы в знакомстве с ней, будет иметь для этого все возможности. Однако легко ли ему будет сделать это?

Тут я должен упомянуть о черте, которая свойственна авторской манере Л.И. Репиной. Это совершенно невообразимая **у с л о ж н е н н о с т ь** языка, которым она пользуется. Здесь я умолкаю в некотором смущении, ибо рискую оказаться в положении тех андерсеновских героев, которые боятся чего-либо не понять, а, стало быть, оказаться „не на своем месте“. Однако подобное увлечение в научных текстах последних лет приняло столь обвальный характер, что настала, на мой взгляд, пора поднять голос протеста.

В самом деле, как прикажете понимать такие пассажи: „успешное преодоление абсолютизации языковых дуализмов, отражающих иерархические оппозиции“, „система прокреации и социализации последующих поколений“, „крайности пост-структуралистских психоаналитических интерпретаций“. „историки исходят из... представления о комплексной социокультурной детерминации различий и иерархии полов и анализируют их функционирование и репродуцирование в макроисторическом контексте“ и проч. При этом Л.И. Репина не заменяет эти конструкции на более вразумительные и не объясняет их. И даже столь важное для целей ее очерка понятие, как „гендерная

история“ (история взаимоотношения полов) оставляет без какого-либо пояснения.

А ведь в главе, написанной Л. Репиной, отчетливо ощущается напряженная авторская мысль. Но мысль эта становится уделом слишком узкого круга читателей, либо близких по научному профилю, либо отважившихся, несмотря ни на что, продрасть сквозь все лингвистические рогадки.

Но вернемся к структуре всей книги. – Тринадцать составляющих ее глав-очерков отчетливо разделены в ней на две группы: „Мужчина и женщина“ и „Родители и дети“. Первая из них посвящена исследованию трех проблем: „Различия в статусе“, „Супружеские и внесупружеские контакты“, „Стандартное и нестандартное поведение“. Известный исследователь-антиковед, И.С. Свенцицкая открывает список конкретных очерков работой, посвященной женщине античной Греции.

Материал, положенный в ее основу, ярок, красочен, сравнительно известен и позволяет не только воссоздать облик женщины того времени, но и ответить на вопрос, в чем выражалось нестандартное поведение гречанок и как менялось это поведение в последующую, эллинистическую эпоху.

Автору следующего очерка, М.Л. Абрамсон, пришлось иметь дело с материалом, значительно менее известным – она взялась исследовать отношения между супругами, их родными и близкими в южноитальянском городе X-XIII вв. Ее анализ выдержан в традициях классической урбанистики, строго, многообразно и весьма убедительно. Бесспорно, интересен ее ведущий вывод о концентрических кругах родственников – (семья; близкие, но живущие отдельно; дальние), но мне представляется более значимой масса наблюдений над конкретными житейскими ситуациями – о зависимости морального климата в семье от слуг, о знаковом значении кровати, о том, что в XIII-XIV вв. женщины все чаще меняют своих опекунов и пр.

Среди очерков, построенных на средневековом материале, очерк С.И. Луцицкой – один из самых красочных. Он содержит рассказ о жизненном пути видного французского вельможи XII в., отправившегося в Первый крестовый поход, не выдержавшего его тягот, вернувшегося домой и встреченного общим негодованием (в том числе и со стороны своей жены), вновь принявшего крест и погибшего на Востоке. Обо всем этом сообщают также и два частных письма – редкий по тем временам

случай! – которые открывают для историка отличные возможности для анализа отношений между знатными супругами. Однако, возможно, источники, в которых отразилось поведение мужчин и женщин той далекой эпохи, нуждаются в особом анализе? По отношению к очерку „Любовные связи и их литературное преломление во Франции XII века“ этот вопрос особенно справедлив. Его автор В.А. Блонин проделал внимательный анализ трактата „О любви“, принадлежащего перу клирика при дворе Филиппа I Августа, Андрея Капеллана. В контексте традиционного для XII века спора о любви телесной и любви духовной автор предлагает множество тонких и продуманных наблюдений по поводу и самого текста Капеллана и соображений современных его исследователей (один из них, например, предлагает считать куртуазное поведение того времени не более серьезным, чем игра в шахматы). А появление в ту эпоху специальных „судов любви“ позволяет говорить о чисто средневековом „перетекании“ частного в публичное, реального в нереальное и наоборот.

Вторая группа глав, „Родители и дети“, посвящена рассмотрению проблем связей притяжения и отталкивания, семейного и родового самосознания, нормативного и индивидуального. Она открывается исследованием П.Ш. Габдрахманова о семейных традициях средневековых крестьян во Фландрии все того же XII века. Автор изучил данные картулярия (собрания грамот) монастыря Энам близ Гента. Над актами, в которых крестьяне дарят феодальному сеньору свою свободу, медиевисты работали десятилетиями, на них выросли поколения исследователей, знатоков крестьянской жизни.

П. Габдрахманов же произвел над картулярием совершенно иную новаторскую операцию – он изучил и м е н а крестьян-дарителей, стремясь выяснить, можно ли усмотреть в использовании этих имен какие-либо закономерности, а если да, то какие. Глава носит чрезвычайно сложный характер, она наполнена схемами и таблицами, легкого, поверхностного знакомства с собой не позволяет. Мне лично подобная система работы внушает искреннее уважение. Что же до генеральной задачи, стоявшей перед авторами книги, то автору очерка удалось выяснить, что только около половины обследованных крестьян носят как бы „индивидуальные“ имена. А в целом в частной жизни крестьян Восточной Фландрии этого времени постоянно обнаруживаются

проявления не столько индивидуального, сколько группового сознания, проявляющегося в разных сферах.

М.А. Бойцов, автор небольшого очерка о частном и публичном у германской знати XIV-XV вв., вообще сомневается в том, что в средние века существует какая-то сфера „приватного“. И тем не менее, изучение нескольких дворянских биографий позволяет ему открыть существование приватности, правда, не индивидуальной, а „семейной“, которая может с легкостью возникать в рамках „официальных институтов, таких, как сеньориальный двор“.

Еще одной гранью во взаимосвязях людей того далекого прошлого является их отношение к старым и немощным (очерк Ю.П. Уварова „Старость и немощность в сознании француза XVI века. Сцены из нотариальной практики времени Генриха II“). Историки не случайно все чаще обращаются к этой теме: современные нам нации „стареют“, и прошлое может оказаться хорошим образцом для сопоставления.

Ю.П. Уваров обратился к этому сюжету на материале дарственных актов, зарегистрированных в парижском суде. Каждый из актов содержит дарение имущества, которое совершает старый или нетрудоспособный, стремясь обеспечить себя в последние годы жизни. Акты полны житейских реалий, но требовалось немалое упорство (документы не всегда разборчиво написаны или недостаточно хорошо сохранились) и внимание к подробностям, чтобы воссоздать картину повседневной жизни. Уваров в высокой мере проявил эти качества. Его взгляд очень внимателен, изложение живо и просто. А образ немощного человека, встающий из грамот при всей идеализированности этого образа (человек знает, что он не останется без ухода, что он сохранит прежний режим питания и проч.) – отличный образец исторической реконструкции.

В книге не обойдена вниманием и русская действительность в широком диапазоне, от X до начала XIX века. Внутрисемейные отношения в Москве XVI в. оцениваются в очерке Л.П. Найденовой „Свои“ и „чужие“, в Домострое“. Наблюдения Найденовой в общем-то ложатся в русло всей проблематики книги. Но, конечно, материал давно известного памятника открывал явные большие возможности для выводов, чем скупое: „внутрисемейные отношения ощущаются... автором как „внутренние“, „приватные“, которые следует оберегать от вторжения извне...“

Российская действительность предстает перед читателем в еще двух главах, - в очерках Н.Л. Пушкиревой и С.А. Экштута „Любовные связи и флирт в жизни русского дворянина в начале XIX века“ и Н.Л. Пушкиревой „Мать и материнство на Руси (X-XVII вв.“ „Русский дворянин“ - это Алексей Николаевич Вульф, сын Прасковьи Александровны Осиповой и приятель Пушкина, а источник, из которого мы узнаем о его любовных связях, это его „Дневники“). Трудно ожидать, что персонажи того общества, о котором идет речь в очерке, да и вся обстановка эпохи, окажутся незнакомыми образованному читателю. Вряд ли особенно новым станет и вывод о том, что „особенностью эпохи, в которой жил А.Н. Вульф, была некоторая допустимость, „непредосудительность“ для родственников и родственниц перехода от платонических отношений к чувственным“. А вот еще один из итоговых выводов авторов мне представляется весьма существенным: „Сонм женщин-любовниц, родственниц, знакомых, приятельниц, непрерывно льстивших Алексею, ... сделал из образованного и талантливого юноши беспокойного, „комплексующего“ неудачника“.

Совершенно по-иному, но с таким же, если не с большим блеском написана глава П.Л. Пушкиревой о матери и материнстве на Руси. Круг авторских наблюдений весьма обширен. Здесь и мысль о том, что тенденции „небрежения“ детей в допетровской Руси постоянно противостояли представлениям о „благочестивом родительстве“, наблюдение о том, что в нарративных памятниках XII-XV вв. сохранились только ласковые прозвища девочек, а родство по матери считалось поначалу не менее почетным, чем родство по отцу, и проч. Отметим лишь еще один из итоговых выводов Пушкиревой о том, что поддержание теплых отношений между родителями и детьми существовало не „от веку“, а лишь постепенно становилось важной составляющей повседневного быта, окончательно став ею только в XVI-XVII вв. Все это превращает очерк о материнстве на Руси в одно из лучших мест в книге. Хотелось бы лишь задаться вопросом, не объясняется ли возрастание роли эмоционального элемента со временем не столько реальными обстоятельствами, сколько простым увеличением материала, которым располагает исследователь?

Ю.Л. Бессмертному было совсем непросто подвести итоги всей работы в своем заключительном очерке „Частная жизнь и

индивид“. Прежде всего потому, что „ни анализ объективного содержания отношений в кругу близких, ни изучение субъективного восприятия современников в эти периоды не обнаруживают того четкого различения частного и публичного, к которому привыкли люди нашей эпохи“.

Да и существует ли вообще такое понятие, как „частная жизнь“, строго отделенное от жизни публичной? Постоянное переплетение (или „перетекание“) обеих сфер, присущее человеческой жизни прошлого – вот один из важнейших выводов этой коллективной работы.

В заключение своих размышлений Ю.Л. Бессмертный выделяет и обосновывает существование такой встречающейся у ряда авторов категории, как „нестандартное индивидуальное поведение“. На протяжении ряда столетий оно выступает как антитеза „стереотипному поведению“. И это противостояние в целом ряде случаев может выступать в роли творческого начала, порождающего новые культурные формы“. А это значит, что еще до эпохи Ренессанса и до рождения новоевропейской личности прижизненный опыт индивида мог как бы оттеснять опыт предшествующих поколений, мог становиться движущей силой культурных сдвигов в частной жизни. Эта гипотеза не только венчает все построение книги, но и открывает перспективу новых размышлений и нового анализа в сфере культурологических оценок прошлого.

Нам осталось лишь добавить, что авторскому коллективу удалось выдержать строгое единообразие проблематики и одновременно предложить удивительную многогранность подходов, углов зрения, исследовательских приемов. О том, каким количеством человеческих лиц наполнена книга и говорить не приходится. Все это превращает монографию „Человек в кругу семьи“ в совершенно новаторское явление современной историко-культурологической литературы.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕПКА ОБРАЗА СЕБЯ

(Рита Бальмина. «Флорентин, или послесловие к оргазму».
Стихотворения, Израиль, 1996)

В глазах людей, стихов не сочиняющих, видение мира поэтами отличается от видения того же мира прочими смертными. Овеществленный итог поэтического восприятия – собственно стихи – может оказаться непонятным для восприятия бытового. Что за беда? Существует несколько сот употребительных, афористичных историй о поэтах, и эти истории формируют в повседневном сознании бытовое восприятие поэзии. Например, история об Ахматовой, выглядящая так: „Матери Ахматовой, мадам Горенко, прочитали стихи дочери. Та заплакала. Окружающие всполошились: неужели стихи настолько не понравились? – Я в этом не разбираюсь, – якобы ответила мама, – я вижу только, что моей доченьке плохо“. Со временем сама Ахматова забавно отозвалась о суде над Бродским: „Какую биографию делают нашему рыжему! Будто он нарочно для этого подкупил кого-то“.

Заметим подтекст обоих апокрифов: для матери, стихов не сочиняющей, дочкино счастье предпочтительнее всякой поэзии. А настоящий поэт искренне верит, что для создания литературного имиджа полезно иногда и неприятности претерпеть.

Сотворение собственного литературного имиджа – дело кропотливое и долгое. Тому, кто привязался к мучительному и почтенному искусству сопрягать слова в художественные феномены, не отвязаться от него до последней страницы последней книги. Если бы это от меня зависело, я назначил бы всем поэтам приличный достаток и ниспослал бы им уютное счас-

тье – пусть даже в ущерб стихосложению. Но поэты, наверное, на самом деле жаждут для себя чего-то иного.

Отдельные предвзятые читатели упрекают стихи Риты Бальминой в излишнем эротизме. Основанием к этому служит, пожалуй, книга 1996 года, названная автором „Флорентин, или послесловие к оргазму“. В ее предыдущей книге (1993 года) „Закрытие Америки“ эротика почти нет, почти, потому что для иных зоилов любое упоминание разности полов – уже эротика. Да, нечасто советскому человеку доводилось видеть на обложке слово „оргазм“. Тем не менее, со стороны автора данного оргазма на обложке он есть лишь попытка выстроить себе литературную биографию, которая отличается от жизненной так же, как трагический монолог перед гибелью на сцене отличается от негромкого хрипа на больничной кровати.

...Для ночи догола раздета
Луна – бесплатная блудница
На бледный пенис минарета
От вожделения садится.

Стихотворение, содержащее эту строфу, – первое в книге „Флорентин...“ Оно – до известной степени провокативное, сигнальное. Имеющие в половой жизни проблемы немедленно взлаивают: „Ату его!“, активно интересующиеся ищут возможности скорее приобрести книжку. Но образ голы луны, садящейся на минарет, – образ более поэтический, нежели эротический, если противопоставление поэзии эротике сколько-нибудь правомочно. В книге присутствуют еще несколько стихотворений, в которых можно отыскать эротическое поле. Таково, например, стихотворение „Менада“: „Взахлёб, взасос, сползая на колени...“, дающее опозитизированное описание орального секса; таковы отдельные фрагменты некоторых других текстов, которыми открывается книга:

.. Душа у женщины – под юбкой.
Не лезь туда, желанный мой.

Но – и все. Остальные сто тридцать стихотворений книги насыщены эротикой не более, чем книги любой другой поэтессы, никак не шокирующей читателей с проблемами половой жизни;

не более, чем утреннее чаепитие в обществе этих поэтесс, независимо от качества проведенной ими перед тем ночи. И вот, когда флер отважной сердцееидицы и жрицы безудержного наслаждения сбрасывается прочь, обнажается (нет, не в эротическом смысле!) механизм поэтического восприятия мира, открывается поле, в котором поэт собирает букетики своих образов.

Вот ведь радость и беда одновременно: у поэта Риты Бальминой настолько же много оригинальных, интересных строк, насколько мало строк радостных. Разве что это:

А наше братство пьяное сродни
Пернатых певчих ангелов гнездовью...

Тоже, конечно, оптимизма не внушает, но хотя бы есть братство и певчие ангелы – понятия светлые. А то:

...Моя любовь, как форма суицида
По формуле влечения к смерти.

Или: Твои слова – зловонный гной
Души гангреной...

Или вот: От горечи глухонемая
Судьба хворает диабетом...

Судьба горькая, да диабет – сахарный. Читая эти стихи, можно решить, что поэту не просто плохо. Кошмар и ад бытия перехлестнули все пределы; обычная жизнь с ежедневной службой, дружескими встречами и вечерним кофе – это всего лишь бесконечный повод для огорчения, где любая травма несовместима с жизнью, но нет ни одной предсмертной. А стихи удачные! Посмотрите, какая звукопись:

Июль и улей шука Пишпишим.
Мы на крючке арабской вязи Яффо...

Сквозь „йу-шу-че-бс-вз“ слышен явственно рыночный шум. Сквозь строки венков сонетов – у Риты их известно семь, труднейший жанр, не каждому мастеру поддающийся, – отчетливый

бесслезный стон. Красивая, статная женщина в полном расцвете творческих сил – это видно по фотографиям в книге, – и завораживающе-горестные, многослойно-печальные строки. Пожалуй, это закономерно. Столь трудно при современной конъюнктуре оказаться замеченной и востребованной, столько сил приходится прилагать для создания собственного поэтического образа даже в крохотном (в сравнении с Россией) читающем по-русски Израиле, что на восприятие счастья энергии уже не остается. И даже эротика получается в этом случае не радостной, как детский праздник, а сердитой, как ежедневный ожесточенный труд.

**В последнее время журнал поддержали
пожертвованиями следующие лица:**

Байтальская Н. (Нагария) – 30 шек.,
Брискман Н. (Беэр-Шева) – 30 шек.,
Гредескул С. (Офаким) – 40 шек.,
Козленко М. (Холон) – 60 шек.,
Костяновский А. (Кирыят-Ям) – 30 шек.,
д-р Лившиц Т. (Иерусалим) – 100 шек.,
Лорбер Г. (Хедера) – 80 шек.
Прейгерзон А. (Тель-Авив) – 20 шек.
д-р Ришэ (Хайфа) – 80 шек.
Рудштейн Д. (Тель-Авив) – 30 шек.
Рубина М. (Ришон ле-Цион) – 100 шек.
Трешчян О. (Тель-Авив) – 50 шек.
Вильдгрубе (США) – 20 долларов

*Редколлегия выражает глубокую благодарность
преданным друзьям журнала.*

Главный редактор – Александр ВОРОНЕЛЬ

Редакционная коллегия:

**Н. ВОРОНЕЛЬ, Н. ГУТИНА, А. ДОБРОВИЧ,
А. ДОНДЕ, Н. ДРАЧИНСКАЯ, Э. КУЗНЕЦОВ,
М. ХЕЙФЕЦ, Д. ЦИФРИНОВИЧ, И. ЧАПЛИНА,
Н. БАСОВСКИЙ, В. КРАСНОГОРОВ, Э. БОРМАШЕНКО**

*Заведующая редакцией – Мирьям БАР-ОР
Компьютерная обработка – Нина РАДАЙ
Печать – издательство «МЕРКУР»*

*Всю корреспонденцию направлять по адресу:
«22», Р.О.В. 44050, Tel-Aviv 61440.
Телефон редакции – 03-7394525*

Электронный адрес: <http://folding.tierranet.com/22>

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству «Москва – Иерусалим» и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле – 120 шек., для организаций – 130 шек., за рубежом – 80 долларов (авиапочтой в Европу – 90, в США – 95 долларов), для организаций – 100 долларов (включая пересылку).

Стоимость подписки для новых репатриантов (до 1 года в стране – 90 шекелей (с рассрочкой в два платежа).

*Отвергнутые рукописи не возвращаются
и в переписку по их поводу редакция не вступает.*

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с №

Прилагаю чек (чеки) № на сумму

Журнал прошу выслать по адресу

(лишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала

(фамилия)

Наш адрес: "22", Тель-Авив 61440, п/я 44050

50

